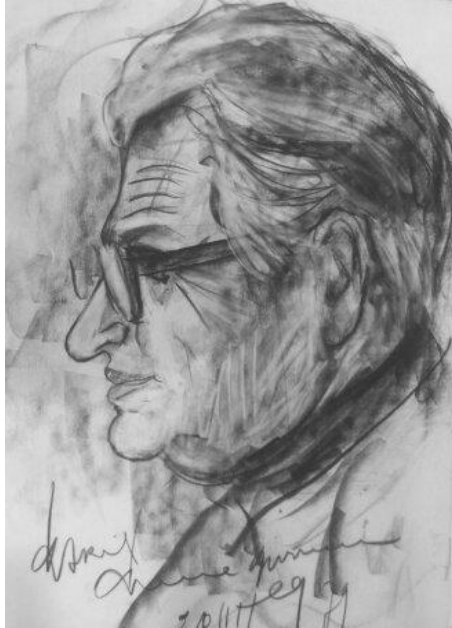


**Александр Экмекчи**

**Доктор Аня**

Семь искусств  
Ганновер 2019



Александр Самойлович Экмекчи родился 13 сентября 1920 года в городе Николаеве Одесской области. В возрасте 16 лет он был принят на юридический факультет Ленинградского Государственного университета. Начало Второй Мировой войны совпало с окончанием университета, и молодой выпускник был призван в армию, прослужил на Ленинградском фронте все годы войны, был мобилизован в 1946 году. По возвращении в Ленинград он был принят на работу в Ленинградскую коллегияю адвокатов и успешно работал адвокатом в течение многих лет.

Повесть «Доктор Аня» была написана в 1954-1955 годах, и никогда не была опубликована в СССР. Спустя более чем 70 лет дочь автора впервые публикует эту повесть. Вполне возможно, что реальное дело, которое он вёл, помогая молодой девушке-врачу избежать уголовной ответственности, легло в основу этой повести.

## Оглавление

Глава 1. Доктор Аня Бужина	4
Глава 2. Где ты, справедливость?!	15
Глава 3. Тучи сгущаются	22
Глава 4. Дневник Ани Бужиной	36
Глава 5. В тюрьме — тоже люди	43
Глава 6. Следствие	55
Глава 7. Дневник Ани Бужиной	67
Глава 8. Дневник Ани Бужиной (продолжение)	77
Глава 9. Приговор	87
Биография автора	101

## Глава 1

### Доктор Аня Бужина

Аня в этом году окончила институт. Теперь она уже не студентка, а врач, или – это звучит намного солиднее, — доктор Бужина. Конечно, она была счастлива. Но вместе с тем чувствовала иногда раздражающее недовольство. Что поделаешь, таков характер. Она счастлива до тех пор, пока не начинает слишком долго размышлять над своим счастьем. Вот она институт окончила с отличием, работает самостоятельно врачом, исполняется всё, что задумала, ей хорошо, все её любят. Но стоило предаться долгим раздумьям, как всё оборачивалось другой стороной. Она врач, а ничего еще толком не знает — первые же больные привели в смятение, надо учиться заново, все её любят, но никто не любит так, как мечталось.

Впрочем, черные мысли приходили обычно в те редкие ночи, когда плохо спалось. Утром же они исчезали вместе с темнотой за окном. Не было ни охоты, ни времени для грустных размышлений.

Жизнь не баловала ее с детства. Война началась, когда ей исполнилось восемь лет. Отец в первый же месяц погиб в Народном Ополчении. Эвакуироваться не успели. В блокаду, в голод, в январе 42-го года умерла мама. Неделю пролежал ее труп в нетопленной комнате, наконец, дворничиха сжалилась и за мамину хлебную карточку отвезла его куда-то на санках.

А летом эвакуация с тётей на барже через Ладожское озеро под бомбежкой, в Сибирь, деревня в алтайских степях. Там пошла впервые в школу. В конце войны умерла тётя, а на следующий день после её похорон пришло извещение о гибели старшего брата в Венгрии, у озера Балатон. Потом детский дом, возвращение в Ленинград, работа штукатуром на стройке, медицинский институт. Стипендии не хватало, приходилось искать любую работу, и она ходила мыть полы к соседям, стирала. Когда училась на последних курсах, стали приглашать в качестве медсестры делать уколы.

Удивительно, как много успевала. Была редактором курсовой стенгазеты, держала в институте первенство по плаванию и на литературной конференции сделала такой доклад о Маяковском, что все ребята и девушки целый месяц твердили ей:

“Дура, иди на филологический, у тебя же талант”.

Аня любила, чтобы жизнь кипела, чтобы не было ни минуты свободного времени, чтобы постоянно одно на другое насакивали все новые дела, любила нестись в этом водовороте

без оглядки так, чтобы порой не хватало дыхания, чтобы ощущала, как замирает сердце.

Но таким же или, пожалуй, похожим было ощущение, запомнившееся с детства. Вцепившись в отца, она летела вниз на американских горках в саду Наркома, вагончик взмывало вверх, несло в пропасть и снова вверх, и снова в пропасть. Она закрывала от волнения глаза и будто прирастала к скамье, а затем долго еще в саду, кушая эскимо в серебряной бумажке, чувствовала, как колотится сердечко, сжимается и ноет, и в этом сознании преодолеваемого страха было какое-то новое необъяснимое удовольствие.

После окончания института Аня уехала по путевке врачом в маленький поселок на Свири.

На речной пристани Аню провожали институтские подружки Вера и Мила. Вера получила направление на работу в пригород, а Мила всякими правдами и неправдами добилась того, что ее оставили без распределения, и теперь с помощью дяди — главврача одной ведомственной поликлиники, — она устраивалась на работу в Ленинграде. Она посвящала Аню во все сложные перипетии своих хлопот — получение фиктивных справок о болезни матери и нефиктивных — о болезни отца, организации телефонных звонков к директору института. И, хотя вся эта возня была противна Ане, она относилась к ней терпимо. В конце концов, каждый волен поступать так, как ему угодно.

Раздался третий гудок. Подняли трап.

— Приезжай, Анечка, не забывай нас.

— До свидания, девочки.

Казалось бы, навечно приросший к пристани пароход дрогнул, зашумел, и все расширяющаяся полоска воды отделила его от берега, мир сразу раскололся на две части — на тех, кто стоял на палубе, случайных попутчиков, объединенных общим стремлением — скорее двинуться вперед, вверх по реке, и на тех, кто остался на берегу, все еще продолжая махать шляпами, косынками, платками.

Аня уселась в плетеное кресло на корме. За кораблем бежала белопенная дорога, и можно было часами с интересом следить за ее неутомимым, kloкочущим бегом. Застроенные новыми домами, величавые, с чувством собственного достоинства, набережные Невы сменились вдруг голым и ржавым пустырем. Затем появились красные трубы заводов, беспорядочная толпа домов и снова суровый простор пустынной земли.

Рядом послышался робкий голос:

— Неправда ли, красиво?

Аня не обернулась. Она еще раньше заметила, что к ней подсел сосед по каюте — молодой человек с полными, по-детски румяными щеками, в клетчатом пиджаке. Отвечать не хотелось. Куда приятнее слушать плеск убегающей волны, чувствовать, как ветер ласкает лицо и гонит прочь всякие думы. Сидеть, смотреть и ни о чем не думать. Хорошо!

Поздно вечером Аня спустилась к себе в каюту. Молодой человек о чем-то оживленно беседовал с полной женщиной в цветастом платье с красивым, но уже тронутым морщинами лицом. При виде Ани он вскочил.

— У вас, кажется, верхняя койка? Я могу уступить, у меня нижняя.

— Благодарю, мне удобно на верхней.

Утром, когда Аня вышла на палубу, ее встретила по-прежнему радостная улыбка того же молодого человека,

— Доброе утро, как вам спалось?

— Отлично,

Молодой человек хотел еще что-то спросить, но Аня повернулась к реке. Разговор не состоялся.

Пароход за ночь пересек Ладожское озеро и теперь плыл по Свири. И, хотя эта река была много уже Невы, а её берега пустынной, все же что-то общее чувствовалось во вчерашнем и сегодняшнем утреннем тихом ландшафте. Аня снова уселась в плетеное кресло на корме. Так же, как и вчера, за пароходом бежала и никак не могла догнать его пеннистая дорожка. Все менялось и уплывало — леса, труба далекого завода, баржи, стада коров у реки и снова лес, и все же не такой, а на зеленом лугу уже не стадо коров, а одинокая заблудившаяся козочка.

И вдруг подумалось: и я, наверное, буду здесь одинока — как эта козочка. Но сразу же улыбнулась. Дурацкое сравнение, ведь она твердо знала, что одинокой не будет.

К полудню пароход подошел к шлюзам у Свирьгеса. Медленно раскрылись могучие ворота, и корабль вошел в узкий каменный колодец. Ворота закрылись. В колодце заклокотала вода. Корабль, словно тесто на дрожжах, начал плавно подниматься вверх. Глубокий колодец становился все мельче. На его краю виднелось двое мужчин. Внезапно стоявшая рядом с Аней на палубе, у перил, соседка по каюте закричала радостным голосом:

— Вася, Васенька, милый!

Ее бронзовое лицо с выгоревшими бровями помолодело, морщинки куда-то исчезли, глаза заискрились, и во всем ее вдруг таком юном облике, в вытянувшейся вверх фигуре было столько

радости, виделось такое нетерпение, что Ане на минутку стало завидно. Наверное, надо очень сильно любить, чтобы женщину так преображала радость при виде любимого. Но интересно, кто же этот любимый? Тот ли что стоит справа с квадратным угрюмым лицом, выдвинутым вперед подбородком, без улыбки, недвижимый или же второй — полнолицый, с маленькими усиками, улыбающимися глазами?

Аня, не задумываясь, решила — конечно, второй.

Колодец исчез, наполнился водой и превратился в тихий бассейн, окруженный невысокой оградой, обсаженный редкими, чахлыми цветами. Корабль поднялся. Впереди покоилась широкая равнина, а за нею бесчисленное воинство густо зеленого леса. И в первое мгновение было такое ощущение, словно, вместе с кораблем сейчас поднялся на одну ступеньку весь окружающий мир — река, лес, открывшийся вблизи город. Аня обернулась к соседке.

— Васенька, родненький мой, — горячо, не видя никого, кроме своего Васи, говорила она, — ты пришел сюда на шлюз, чтобы раньше увидеть меня, да, Васенька?

— Ну, конечно, — отвечал ей мужчина с квадратным лицом, пытаясь схватить ее руки, протянутые сквозь перила.

Аня улыbnулась. Вот те и на. Тоже мне физиономист нашелся. Тот, что казался с виду злым отвратительным себялюбцем, на самом деле, наверное, прекраснейшей души человек. Ведь встречать с такой лаской, с таким нетерпением плохого человека невозможно.

После шлюзов берега изменились, зеленой стеной вытянулись они вдоль извивающейся реки. В кажущемся однообразии уплывающих лесов, таилось бесконечное разнообразие. Березы, ели, сосны, ольха — могучие отряды разноплеменного воинства. То они стояли, сомкнувшись, плечом к плечу, готовые к бою, то разбегались, перемешиваясь друг с другом, выставив дозором одинокую, уставшую иву, навеки склонившуюся над водой. Все менялось, исчезало, появлялось вновь, и невозможно было оторвать глаз от этой извечной красоты,

— Вам еще далеко ехать? — в четвертый раз попытался завязать разговор тот же молодой человек. Он устроился на кресле рядом с Аней.

— Нет, не очень.

— Куда же вы едете? — обрадовался он Аниному ответу.

— в N-ский поселок.

— Ну да! — он вдруг заерзал на кресле. — Наверное, отдыхать к родственникам?

— Нет, работать.

— Так это же совсем здорово. Я ведь сам оттуда, понимаете, оттуда. Вы, наверное, экономист или инженер?

— Нет.

— А кто же? Разве вы не в леспромхоз?

— Нет,

— Так куда же? А, догадался. Вы кончили педагогический, новая учительница вместо Антонины Петровны, ушедшей на пенсию.

— Ничего похожего.

— Ну кто же вы?

— А разве это надо обязательно знать?

— Конечно, надо. Это же наш поселок. Я живу уже здесь четвертый год. Работаю техником в леспромхозе, зовут меня Алексеем, но все называют просто Лешей. Конечно, поселок у нас небольшой, но народ хороший. И не думайте, пожалуйста, что это какая-то глухомань, или что-нибудь подобное. У нас совсем не скучно, есть библиотека, клуб, два раза в неделю, во вторник и в воскресенье кино, в субботу танцы. И картины у нас показывают с небольшим опозданием, ну через месяц, полтора, после того как они пройдут в Ленинграде. Ведь это немного, правда?

Солнце падало за кормой, покрывая темнеющее небо, воду и лес пунцово красным плащом. Аня уже не слышала своего соседа. Невидимое никогда ранее и потому казавшееся волшебным пиршество красок приковывало к себе. Кровавое покрывало постепенно светлело. Через минуту оно уже не горело, как прежде, а лишь румянилось, становилось все тоньше и прозрачнее. Яркий плащ неба превращался в легкую розовую фату, отороченную снизу тяжелым зеленым бархатом леса.

— А вот и наш поселок, — раздался голос Лёши. Он показался совсем не назойливый, а напротив, даже милым. Простой, хороший парень.

— Зря я с ним так сурово обошлась, — подумала Аня. — Мы вместе выйдем.

— Ну, давайте, я вас проведу.

Леша схватил ее чемодан и гордо понес его под любопытными взорами мальчишек и нескольких женщин, стиравших на пристани белье. Лес, везде лес, бревенчатые избы и только один двухэтажный дом. Аня сразу угадала — больница, теперь уже не просто сельская больница на 25 коек, а ее, Анина больница, где предстоит быть единственным врачом, главным и



неглавным, хирургом, терапевтом, гинекологом, ларингологом, одним словом, господом богом, во всех лицах сразу.

В больнице Аню приняли хорошо. Медсестрам было приятно, что новый врач — молодая девушка, пожалуй, даже моложе их самих. Только фельдшер Сопелкин был явно растерян. Полнеющий мужчина лет сорока с румяными щеками, тусклыми голубыми глазами и постоянной улыбкой на лице, он производил на нее странное впечатление. Как будто бы мил, любезен. Но от его улыбки становилось не по себе. Что-то в ней было неприятное, казалось, что она не рождается естественно, как все улыбки у всех людей.

Сопелкин в течение нескольких месяцев заменял в больнице главврача. Хотя он открыто не говорил этого и продолжал улыбаться, явно виделось, что он недоволен приездом Ани. Это же черт знает что! Ему, такому опытному превосходному медработнику (он любил так называть себя, все же лучше, увесистей, чем просто фельдшер), приходится передавать бразды правления, уступать первенство какой-то сопливой девчонке.

И Аня все время слушала его. Она все же была вынуждена, в особенности в первое время, по многу раз на день обращаться к нему то за справкой, то за советом и всегда наталкивалась на ту же улыбку, холодную, злую.

Мол, эх ты, девчонка, доктором называешься, а понимаешь с гулькин нос, и все равно без старого волка Сопелкина ничего тебе не сделать, пигалица.

Но Аня не сдавалась. Никогда еще в институте не сидела она с таким упорством над учебниками, справочниками, своими студенческими конспектами. Каждая улыбка Сопелкина сильнее разжигала упорство. Одно дело — выучить, вызубрить и донести знания до экзаменаторской, а затем, как только в зачетной книжке проставлена оценка, больше о сданном предмете не думать, и совсем другое, когда у тебя в палате лежит больной, и ты, только ты, можешь помочь ему, а сама не уверена в диагнозе, роешься в учебниках, справочниках, проверяешь, сопоставляешь, ищешь.

И, странно, здесь, в этом, казалось бы, медвежьем углу, где вся промышленность — леспромхоз, где только одна школа-семилетка, где кое-кто еще бегаёт к знахарке бабке Ефросиньи, здесь Аня никогда не чувствовала той гложащей тоски, того недовольства, которые хотя и не часто, но мучили ее прежде, не давая покоя. Может быть, потому, что жизнь не оставляла для них времени?

Больница, учебники, поездки в лес на дальние медпункты, беспокойные ночи. Только заснешь, упадет с кровати — “Курс общей терапии” или учебник фармакологии, а дверь уже дрожит от стука.

— Анна Васильевна, откройте, мальчика привезли, температура 39,6°, не знаем, что делать.

Или:

— Докторша, докторша, помогите, матушка, Кузьму моего изломило всего.

— Что? Несчастный случай?

— Да нет, в теле ломота, стонет сердешный. Зайди уж, голубушка, к нам.

Спросонья натягивает чулки, в полутьме поправляет волосы, пальтишко на плечи, чемоданчик в руки, и прощай сон да отдых.

Время бежало, уносило сутки, там находившие друг на друга — утро, день, вечер, ночь, больница, учебники, вызов к больному, в кои веки кино, и вместе с тем — то странный непонятный грипп, то тяжелый перелом, то не распознанное вовремя воспаление легких. Незаметно пришла зима. И еще менее заметно стали приходить знания, опыт. Пожалуй, за эти полгода научилась большему, чем за шесть лет института.

И никогда еще не испытывала такой радости. Теперь на свете существовали люди, которых спасла она, Аня. Три ночи она почти не отходила от постели больного лесоруба, сама своими вдруг ставшими умелыми руками прооперировала его, спасла от чуть было не начавшегося заражения крови. Не будь эти дни она так внимательна к нему, не думай неотступно об его болезни, не решишь на операцию, неизвестно: остался бы он жив.

Дни пролетали быстро, но Аня при всей своей занятости успевала и принимать участие в общественной жизни поселка, люди её любили, ей доверяли, пригласили на выборы месткома.

— Кажется, мы все знаем хорошо товарища Пивоварова. А если проверить, оказываемся и не знаем, — гудевший зал замер. — На работе он очень тихий, а вот дома буянит, нам в больнице пришлось даже лечить его жену от побоев. А следовало бы наоборот, чтобы председатель месткома дома вел себя тихо, спокойно, как порядочный человек, а на работе пусть будет буйным, пусть не мирится с тем, что ваша администрация женщин на тяжелые работы посылает, пусть не мирится с пьянством, а ведь он сам, чего греха таить, как будто бы не во вражде с бутылочкой, так кажется?

— Так, так, — раздалось из зала.

Люди улыбались Ане, аплодировали, многие думали точно также, а вот сказала все это она.

— Молодец, докторша, молодец.

После этой речи не выбрали Пивоварова. Кто-то выкрикнул во время выборов его фамилию, да голосов он собрал меньше всех. Пивоваров ушел с собрания темнее ночи, чужие улыбочки жалили, словно иглы — часто и больно. Надо было, конечно, самоотвод заявить, чтобы от такого позора уйти, да не догадался, дурень этакой. А девчонка-докторша еще наплачется, тоже мне: новая праведница нашлась.

Она же не замечала ни этой его ненависти, ни самого Пивоварова. Слишком была занята своими делами. О чем только не приходилось думать? Санитарок не хватало. Женщины неплохо зарабатывали в леспромхозе, и никто не хотел идти на маленький оклад в больницу, второго врача из района не присылали, с медикаментами случались перебои. На всякие административные и хозяйственные дела уходило масса времени.

Но за всеми этими заботами и многочисленными текущими делами Аня не забывала о планах, которые выносила еще в институте. Она сама просила комиссию по распределению направить ее на постоянную работу именно в сельскую больницу и не потому, что знала — это наилучшая школа для врача, но главным образом потому, что здесь лучше всего можно было осуществить свою мечту — создать образцовую больницу. Она будет не только лечить и излечивать больных, но и предупреждать сами болезни.

Глубоко в душу запали ей еще в институте слова вступительной лекции профессора Торичева.

*— Врач не должен быть только лекарем, этого сейчас мало лечить людей от болезни, надо научиться предупреждать болезни, не давать им возможности нападать на человека и овладевать им. Тот, кто решил отдать себя медицине, обязан всегда помнить о профилактике. Вы должны выйти из стен института не только врачами, но и пропагандистами, вы должны нести в народ знания о человеческом здоровье, и о борьбе за него.*

В райбольнице Аня вместе со старым врачом Яковом Марковичем выработала план лекций на медицинские темы для жителей поселка, договорилась с секретарем парткома леспромхоза Весняком о том, что он поможет ей организовать эти лекции в клубе еженедельно и после нового года она начнет их читать.

Утром и днем в больнице, вечером за книгами и конспектами — так убегало время.

Радости сменялись огорчениями. В этом, наверное, вся наша жизнь — клубок радостей и горестей. Поди распутай его, узнай, чего больше.

Первым большим горем была первая смерть в больнице. Инсульт, кровоизлияние в мозг у сторожа с речной пристани. И не так уж стар, меньше семидесяти. Может, быть она прозевала? Нет, непохоже. Старик лежал в больнице с воспалением легких, уже поправлялся, встречал он её всегда с улыбкой.

— Посиди со мной, докторша. Что? Скучно со старичком. А ведь старый конь.

— Знаю, знаю, — борозды не испортит. Вот кончу обход и с удовольствием посижу немного с вами, Матвей Иванович.

— Да, ладно, барышня. За доброе слово спасибо, а какое уж тебе удовольствие со мной, старым хрычом, сидеть?! И соображение обо мне теперь иметь нечего, слава богу, на поправку пошел.

А ночью её вдруг в больницу вызвали.

— Скорей, скорей, плохо нашему Иванычу.

Прибежала. Он лежал бледный, недвижимый, уже парализованный, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, а главное, не мог сказать ни слова. Глаза же смотрели не умоляюще, нет, он, наверное, понимал, что дела плохи, а с сожалением. И ей почему-то показалось, будто говорили они: “А вот и придется теперь посидеть со мной, барышня, вот те и удовольствие. А помочь-то мне не сможешь. Куда тебе”.

И хотя Аня знала, что смерть его была неотвратима, все же, когда сестра закрыла веками безжизненные, по-прежнему зеленоватые с красными прожилками глаза, Аня убежала к себе в кабинет, бросилась камнем на диван и расплакалась.

Плакала она долго и горько от сознания своего бессилия, от жалости к Иванычу, от страха перед смертью, с которой теперь придется еще много и много раз встречаться, плакала от того, что она одна в этом маленьком кабинете на клетчатом диване, и некому объяснить сейчас, что ни она, ни кто-либо другой на ее месте, даже самый лучший и опытный врач, не смогли бы ничем помочь старику, а там, за стеной, лежал уже не он, не милый добрый Иваныч, а холодный, никому ненужный, труп.

Перед Новым годом она на неделю съездила в Ленинград на конференцию и теперь, вернувшись оттуда, все еще жила впечатлениями от поездки. Но самым главным в калейдоскопе этой недели явились впечатления от театральных постановок,

докладов на конференции, веселого студенческого вечера в общежитии, а неожиданная встреча с Андреем Петровичем.

Они знали друг друга с прошлого года. На последнем курсе она проходила у него в отделении больницы практику. Чем он тогда понравился? Молчаливым ли спокойствием в самых трудных случаях? Или, может быть, своей несколько старомодной подчеркнутой внимательностью? Или, скорее всего, своей душевной чистотой, которая чувствовалась в этом 35-летнем холостяке, полным отсутствием всяческой наигранности, неестественности, напускного скептицизма, которые нередко встречались среди товарищей? Она не пробовала анализировать, почему он ей нравился, но чувствовала, что в его присутствии ей всегда хотелось казаться и красивее, и интереснее, и умнее. Она видела, что нравилась ему тоже. Но он всегда был робок, застенчив. Пожалуй, такая робость взрослого, серьезного человека могла показаться смешной, и все-таки, если б в нем отсутствовала эта робость, он бы что-то потерял в её глазах, был бы тогда уже не совсем таким, каким нравился.

Как-то она даже вынуждена была сама предложить:

— Андрей Петрович, а вам не показалось бы очень скучным пойти со мной в кино, говорят, хороший французский фильм.

— Что вы, Анна Васильевна, с превеликим удовольствием, — пробормотал он и покраснел, как мальчишка.

Но вскоре практика кончилась, в больнице она теперь не бывала, начались госэкзамены, занятия поглощали все дни. И как-то недосуг было думать о нем. Но Андрей Петрович не появлялся и после экзаменов. Она первое время даже злилась из-за этого.

А вскоре Аня уехала на работу, и понемногу он стал забываться.

Тем неожиданней оказалась встреча с ним в первый же день ее приезда в Ленинград. Они столкнулись у дверей Института усовершенствования врачей, и оба покраснели,

— Анна Васильевна, как я рад. Ведь я уже стал вас разыскивать.

— Видимо, ваши розыски несколько затянулись.

— Не упрекайте меня. Я хотел написать вам, но не решился. Узнав же, что вы должны быть здесь, я, как видите...

Он говорил с трудом, мучительно подыскивая слова. Можно сказать: “у ваших ног”, но это плоско и банально. Сказать: “прибежал, как мальчишка, чтобы увидеть вас”, — слишком смело. И он замялся, так и не окончив фразы.

Значит, он здесь не случайно, — обрадовалась Аня, — не случайно. И ей было приятно без конца повторять эти два таких простых слова — “не случайно”.

— У меня приготовлены на сегодня две билета в театр на “Аиду”. Может быть, вы пойдете со мной?

— Хорошо.

Они уселись в слепящем золотом и синим бархатом зале, медленно погасли костры люстр. Раздались первые звуки увертюры. Аня мельком взглянула на Андрея Петровича. Его простое курносое лицо вдруг преобразилось, отдавшись музыке. В нем появилось что-то прекрасное, одухотворенное. И вспомнились Свирь, пароход, красивая спутница и ее некрасивый муж наверху, у ворот шлюза. Конечно, можно любить и некрасивого. И она сама положила свою горячую ладонь на большую руку Андрея Петровича.

Дуры-девчонки говорили о нем — скучный, битюг. Да он и умнее, и образованнее всех на свете. Аня испытывала при мысли о нем явный недостаток в похвальных эпитетах.

И теперь, вернувшись в поселок, она не переставала думать об Андрее Петровиче. Да, он робкий и медлительный, пожалуй, неуклюжий, с первого взгляда, даже угрюмый, и они очень непохожи друг на друга. Но ведь это, наверное, чертовски скучно — быть похожими. Все заранее известно — и как подумает, что скажет, и как поступит. Ну и пусть он неуклюж, пусть даже тугодум, хотя это, конечно, неверно. Но он ведь по-настоящему хороший. А это главное.

И чем больше она думала теперь о нем, тем приятнее становилось на душе. Она не хотела строить никаких планов. А вдруг это только увлечение, а не любовь, и может быть, она еще встретит другого, которого полюбит так, что без него ей станет совсем немогоду. И поэтому, когда она однажды представила себе, что может выйти замуж за Андрей Петровича, сразу же всплыли десятки возражений. Он и старше её на 12 лет, и она ни за что не бросит своего поселка, и ей рано в 23 года замуж, и он сам, наверное, вовсе не хочет этого. Но, хотя она считала эти возражения очень серьезными, все-таки в глубине души, не желая даже сознаться себе в этом, знала, что на самом деле они ничего не стоят. И эта уверенность была приятна.

Теперь у нее появились новые волнения. Почему до сих пор нет от него писем. Если бы он написал не в день ее отъезда, а на следующий, то и тогда его письмо должно было прийти еще вчера. И как хорошо ждать его писем. Тревожно? Но разве не в тревогах вся наша жизнь.

## Глава 2

### Где ты, справедливость?!

В ночь под воскресенье на поселок набросился сильный мороз. Выпавший к утру снег не смягчил его.

Аня вышла из своего домика, вблизи от больницы, и сразу же провалилась. Снег забился в валенки. С трудом выбралась, схватила деревянную лопату и стала разгребать снег у крыльца. Выглянуло солнце и зажгло на снегу тысячи огоньков. Работа спорилась. Хотя мороз схватил щеки, и они задервенели, чувствовала себя она необыкновенно бодрой и сильной.

В больницу Аня пришла часам к 12-ти. Она могла бы сегодня и вовсе не приходиться на работу, все-таки воскресенье, серьезных случаев нет, но не зайти не могла.

Дежурная сестра Мохова доложила:

— К выписке одна больная — девочка Катя Пивоварова.

Аня взяла её историю болезни. Девочку вторично положили в больницу для изгнания глистов. На этот раз они вышли в первый день. Ну что же, так бывает.

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, доктор, отпустите меня домой, все ребята на санках катаются, скоро уже и каникулы кончатся, а я все торчу и торчу здесь.

— Как у неё с желудком?

— Не работает что-то, давали слабительное.

— Дайте еще одну порцию.

— Ну а выписывать?

Аня пощупала девочке живот, посмотрела язык, прослушала сердце, легкие.

— Значит, торчишь здесь?

— Отпустите, доктор, отпустите.

— Ну ладно, пожалуй, можно выписать, раз курс лечения окончен.

Вечером пришло письмо от Андрея Петровича, большое, на шести страницах о сложных медицинских казусах, новом итальянском фильме, о непонравившемся романе в последних номерах журнала “Октябрь”. И только в самом конце письма невинный вопрос: как в их местах с охотой? Он, оказывается (впервые узнала об этом), — заядлый охотник, в следующем месяце ему должны дать отгул на несколько воскресных дней, и он смог бы приехать поохотиться.

Приехать! Вот это замечательно! Аня даже покраснела от радости. И, если бы не сидела в это время у себя в кабинете и была бы просто Аней, а не доктором Анной Васильевной,

захлопала б сейчас от удовольствия в ладоши да еще закружилась бы на одной ножке перед зеркалом, с затаенной гордостью любясь собой: “хороша девчонка, правда?!” Но сразу же нахлынули прозаические мысли. Это, конечно, замечательно, что он приедет, ну а где же его поместить? Дома для приезжих здесь нет, у себя неудобно. У директора школы? Но он сразу же начнет посмеиваться: “Поздравляю, женишок появился”.

Может быть, объяснить ему, что это родственник, двоюродный брат, или что-нибудь в этом роде. Нет, не годится, директор сразу поймет, что она лжет. Наверное, это плохо, у неё всегда все на лице написано: она никогда не умела говорить неправду. Впрочем, чего гадать, еще неизвестно, когда Андрей Петрович сумеет приехать. Ничего не решив, Аня побежала в библиотеку за последними номерами “Октября”.

Читала до глубокой ночи роман, о котором, писал Андрей Петрович, и странно, этот роман ей также не понравился и по тем же причинам, о которых писал он. Приятно было сознавать, что у них, таких разных людей, одинаковый вкус. А что, если она слепо следует за его мнением. Ну и пускай, все равно приятно.

На следующее утро в больницу привезли с дальнего лесоучастка в тяжелом состоянии рабочего Гаврилова. Несчастный случай, множественные переломы, сотрясение мозга, без сознания. Целый день Аня просидела возле него и ни о чем другом уже думать не могла. Без операции не обойтись. Но она никогда не делала таких операций. Вызвать из райбольницы Якова Марковича? Пока он приедет, будет поздно.

— На стол, кладите его на стол.

— Анна Васильевна, вы будете делать ему операцию? — испуганно спросил Сопелкин.

— Да. Обмыть его, общий наркоз. Будете ассистировать.

Операция длилась около часа. Она знала, что это непростительно долго, что только такое здоровое сердце, как у Гаврилова, может выдержать. Но ведь на это и рассчитывала.

Когда все окончилось, с трудом стянула с себя резиновые новые перчатки и мыла, мыла без конца руки, голова кружилась, только бы самой не упасть.

— Анна Васильевна, там люди ждут амбулаторного приема. Может быть, отменим, перенесем на завтра? — спросила Мохова.

— Нет, я иду.

Как обычно, на приеме простые случаи. Первый — простуда, катар верхних дыхательных путей, пусть пару дней отсидит дома; у второго растяжение связок; третий — просто



мнительность. Осматривала быстро, а мысли летели туда, за стенку, к кровати Гаврилова. Как с сердцем? Надо еще раз проверить кровяное давление.

Четвертой на приеме была Катя Пивоварова, пришедшая с отцом.

— Ну как дела?

— Спасибо, доктор, хорошо.

— Да чего хорошего?! — вмешался отец. — Кушает она плохо, тошнит, рентген в районе пусть сделают.

От усталости или от того, что ее все время не отпускали от себя мысли о Гаврилове, Аня пропустила мимо ушей слово “тошнит”, ее возмутило бессмысленное требование рентгена.

— При чем здесь рентген?! — Пивоваров с его угрюмым злобным взглядом все больше раздражал Аню. — Каждый считает себя вправе давать медицинские советы. Возможно, у девочки плохой аппетит от лекарства. После приема сантонина, которым изгонялись глисты, это бывает. Побольше витаминов. Полезна аскорбинка с глюкозой, — она выписала рецепт. — Следующий.

Ночь прошла беспокойно. Гаврилов не приходил в сознание. Аня осталась в больнице. Прилегла, не раздеваясь, у себя в кабинете, на диване. Несколько раз среди ночи вскакивала, на цыпочках подходила к больному, сменяла ненадолго сестру. Никаких изменений. Нельзя рисковать. Надо все-таки позвонить в райбольницу, вызвать Якова Марковича. Конечно, старику уже нелегко по деревням да поселкам. Пусть главврач присылает кого-нибудь другого. Но ведь никто не сумеет помочь так, как Яков Маркович.

Утром Гаврилов пришел, наконец, в сознание, и с сердцем, как будто стало лучше, и дыхание свободнее, температура спала. Ночные страхи и опасения исчезли. Аня успокоилась, назначила уколы пенициллина и решила в район не звонить. Когда она выходила из больницы, направляясь домой, чтобы поспать спокойно с часок, на крыльце столкнулась с женой Пивоварова.

— Доктор, к Вам можно?

— В чем дело?

— Дайте нам в район направление на рентген.

— Что вы все с этим рентгеном, словно с ума спятили, что вы понимаете в этом?!

Она горячилась, хотя и чувствовала, что горячиться не следует. Мать волнуется. Кто-то наговорил ей про рентген, вот и просит.

— А как девочка?

— Да неважно, доктор, не ест почти ничего, появилась рвота. Дайте уж нам на рентген направление, поедем сегодня в район.

— Ну, ладно, только покажите ее там обязательно педиатру.

Она вернулась к себе, выписала направление и к педиатру, и на рентген, и усталая, в пальто, плюхнулась на диван. Сил встать и идти домой не было. Что-то она сделала не так, как следует. Нельзя быть самонадеянной. А вдруг Гаврилову сделается хуже? Такой сложный случай, а она ни с кем не консультировалась. Зазнайка! Ведь не обязательно вызывать сюда Якова Марковича, можно с ним все подробно по телефону обсудить. И нельзя было так говорить с Пивоваровой. Непонятно, почему вдруг девочке хуже. Надо было самой посмотреть ее, ну не беда, сегодня посмотрит педиатр, специалист, он ведь лучше понимает.

К вечеру Аня успокоилась. Гаврилов всю вторую половину дня спал. Она долго разговаривала по телефону с Яковым Марковичем. Он похвалил её за смелость, решительность, долго удивлялся тому, как она справилась сама с такой операцией, все её назначения признал правильными. И, хотя она не просила, обещал завтра приехать, посмотреть больного.

После телефонного разговора Аня пошла домой. Поужинав, села за письмо к Андрею Петровичу. Долго описывала случай с Гавриловым. Советоваться сейчас бессмысленно, но как не описать всего, что так волновало. Когда же прочитала написанное, удивилась. Какая она, оказывается, хвастунья. Все я да я. Что подумает о ней Андрей Петрович?

Постучали в дверь.

— Кто там?

Невнятное бормотание. Открыла, ввалились двое мужчин, снег облепил их ушанки, не узнала даже лиц. Отшатнулась.

— Что вам нужно?

— Да это же мы, Анна Васильевна.

Теперь узнала их — старый знакомец Лёша и его друг Сеня, тоже техник из леспромхоза. Они были неразлучны, особенно в последнее время, словно боялись, как бы один не опередил другого.

— Сегодня вторник, в клубе кино, говорят, очень хорошая картина. Мы за вами.

— Спасибо, Леша, Сеня, — она, как и все, произнесла их именно слитно, так, будто это было одно общее имя “ЛёшаСеня”, — спасибо, я очень устала сегодня и не смогу пойти с вами.

Парни смущенно помялись и ушли.

Вот уже полгода она здесь. Многие старались ухаживать за ней, но она оставалась безразличной. Пожилые люди понимающе перешептывались: “Не иначе как у её зазноба в Питере”, — парни с усмешкой говорили. — Видали мы таких вообразал, — девушки тоже не одобряли гордячка.

А ведь в институте любила, чтобы вокруг нее крутились мальчишки. Сколько раз бывало: назначишь сразу двоим свидание, а каждый думает, что свидание назначено только ему одному. У них вытянутые недовольные лица, а ей смешно. Но почему же здесь никто не мил? Из-за Андрея Петровича? Нет, пожалуй. Где-то читала, что девушки до двадцати лет влюбляются, как правило, в ровесников, а после двадцати — в мужчин старше себя лет на десять. Может быть поэтому? Чепуха, все глупости.

Утром, еще на улице по пути в больницу, к ней подбежала встревоженная сестра Мохова.

— Анна Васильевна, только что приходила Пивоварова. Кате очень плохо.

— Ее возили вчера в район?

— Да. Но на обратном пути ей сделалось худо. Рвота да рвота, рвать нечем, а позывы.

— Идемте к ним быстрее.

— И Гаврилову сегодня что-то хуже.

— Почему вы не разбудили меня ночью?

— Я не думала...

— Надо думать, кажется, для этого дана голова.

Аня взглянула на Мохову. Пожилая сестра раскраснелась, опустив свою маленькую голову к земле, и вся она стала вдруг такой жалкой. Как нехорошо! Обидела её зря, совершенно зря. Откуда во мне эти взрывы грубости? Надо извиниться. Но Аня извиниться не успела. Она побежала в больницу. Что делать?! Пивоваровым придется немного подождать. Ведь у них не такой опасный случай. Она бежала изо всех сил. Это неважно, что на нее удивленно смотрят. Быстрее, быстрее. Раскрасневшаяся, она влетела в палату к Гаврилову. У него поднялась температура, говорил он с трудом, через силу. Аня внимательно прослушала его. Как будто бы ничего опасного. Зря так испугалась. Надо дать жаропонижающее. Скорее бы приехал уже Яков Маркович!

— Евдокия Ивановна, — обратилась она к Моховой, — и тон ее был совсем другим, предупредительным, пожалуй, даже ласковым, — подежурьте возле него, пусть примет вот это, — она

протянула таблетки, — пожалуйста, а я пока сбегая к Пивоваровым.

В комнате у Пивоваровых было мрачно. Грустный зимний свет с трудом просачивался через замерзшие стекла окон. И эта полутемь, и напряженная тишина, и исхудавшее землистое лицо девочки на белом пятне подушки — всё невольно навевало чувство безнадежности.

И чтобы побороть это чувство, Аня первым делом потребовала:

— Света, побольше света, зажгите все лампы.

Если б только это могло помочь! Аня долго осматривала девочку. Слаба, совсем слаба. Что же это у нее такое! Рвоты, головокружение. Может быть, тиф? Нет, не похоже. Отравление? Но откуда?

— Что вы давали ей есть?

— Ничего такого. Она совсем не кушает, больше пьет. Вот разве черничное варенье.

— Оно свежее?

— Только летом этим сварили.

— Принесите.

Попробовала. Варенье хорошее. Тут что-то другое.

— А как у нее с желудком?

— Да нету...

— Что же вы молчите?! Очистить, немедленно очистить! Я сама всё сделаю. И обильное питье, побольше пить, пить. И вот это лекарство пусть примет. Скорее бегите в аптеку.

У девочки отравление, интоксикация. Но от чего? Не надо было в воскресенье выписывать её из больницы. Но тогда же все было в полном порядке, непонятно, совершенно непонятно.

— Ей очень плохо, доктор? Правду, скажите правду, — шептала горячо бабушка, и в ее покрасневших глазах виднелись слезы.

— Посмотрим, посмотрим, не волнуйтесь, пожалуйста.

Аня говорила эти пустые, ничего не значащие слова потому, что надо было что-то отвечать. Думала же совсем другое. “Зачем, зачем я это говорю? Зачем обманываю? И неужели все врачи так лгут в подобных случаях? Что означает — посмотрим? Почему родные не должны волноваться, когда девочке плохо; я не знаю, чем ей помочь, и сама волнуюсь?! Скорей бы приехал, наконец, Яков Маркович. Попрошу его посмотреть девочку”.

Очистив Кате желудок, она уложила её в кровать, накинула пальто. Надо бежать в больницу к Гаврилову.

— Я скоро приду.

Когда вернулась к Пивоваровым вместе с Яковом Марковичем, девочка лежала такая же бледная, неподвижная, щеки еще больше впали, глаза увеличились, они смотрели грустно, словно понимали, что уже ничего хорошего не ждет её впереди, и ни знакомая молодая докторша, ни новый незнакомый старый доктор — никто уже не поможет ей.

— Здравствуй еще раз, Катенька, теперь мы тебя вдвоем посмотрим, — фальшиво-бодрым голосом пропела Аня, и самой была противна эта наигранная фальшь, — садись, деточка.

Яков Маркович молча начал осматривать девочку. Аня стояла рядом. Теперь уже не она, а он, Яков Маркович, главный, он должен решать, она же только при нем. В институте на практике тяготилась, когда постоянно бывала при ком-то. Сейчас же впервые почувствовала облегчение от того, что не должна сама ничего решать, что рядом был более опытный, знающий, старший врач, а она лишь при нем.

Яков Маркович очень долго осматривал девочку, расспрашивал дотошно её саму, родителей, посмотрел рецепт, выписанный Аней.

— Ну что ж, доктор Бужина выписала хорошее лекарство.

“Это он, чтобы поддержать меня”, — подумала Аня.

— Но одного лекарства мало. Случай серьезный, опасный. Надо везти ее в райбольницу. Как вы полагаете, Анна Васильевна?

— Да, да, конечно.

— Я отвезу ее сейчас же на нашей машине.

Девочку стали поспешно одевать. Аня вместе с Яковом Марковичем вышла на улицу.

— Плохо, Яков Маркович, да?

— Боюсь, что очень.

— Но ведь ее спасут там у вас?

Он пожал плечами.

— По-моему, у нее тягчайшая интоксикация организма. А вы же знаете, что это такое...

Да, она знала. Отравление организма. Но почему? Почему? А может быть, её еще все-таки спасут?

В лесу потеплело. Мириады снежных звёзд бесшумно сыпались с неба, будто кто-то щедро, пригоршнями бросал их на землю. Хлопья плавно ложились на высокие ели, и казалось, что эти могучие белые богатыри поставлены сюда для охраны влипшихся в белое покрывало земли домиков.

Всё в мире спокойно. Кружатся снежинки, в окнах зажигаются огни, ребята лепят снежную бабу и носятся по лесу с

радостным визгом. А рядом мучается их подружка и никто не знает, что теперь будет с ней.

Катю одели, укутали в бабушкин платок, обвязали шарфом, лишь проглядывало её худенькое, крошечное личико. Когда ее вынесли к машине, она закрыла на мгновение глаза, будто прощаясь со всем, что успела узнать в своей маленькой жизни, — с семьей, товарищами, своим домом, лесом, школой, виднеющейся вдаль.

И в эту секунду Аня вдруг со всей остротой почувствовала то, что должна была понимать уже раньше, — девочка безнадежно плоха, она вряд ли выживет. И такая тоска вдруг сжала Анино сердце, такая острая боль сразила её, что захотелось крикнуть изо всей силы, взорвать эту мирную тишину — домики, огни, сказочный лес, осыпанный снегом. Почему мы так бессильны? Почему должна погибать десятилетняя девочка, которой только б жить и жить. Почему такая дикая, страшная несправедливость?! Почему?!

Машина умчалась, взметая снег. Вот и нет здесь девочки. Аня оглянулась. Все сыпется и сыпется мелкая крупа снега. Из-за раскидистых башен елей медленно выплывает тусклая луна. А они по-прежнему так же гордо тянутся вверх в темное небо. Тишина. Ни звука. Этой луне, деревьям, снегу, ели, природе ни до чего нет дела. Живи, умирай, торжествуй несправедливость. Сейчас бы закричать, завывать от боли, от обид, от злости.

### Глава 3 Тучи сгущаются

На третий день, в пятницу, Аня приехала в райцентр. Яков Маркович сказал по телефону, что состояние девочки угрожающее.

Аня приехала в полдень. В вестибюле больницы сидела семья Пивоваровых — отец, мать, бабушка. Знают ли они уже? Что им сказать?

Аня сделала несколько шагов по направлению к ним. Пивоваров, заметив её, отвернулся.

“Не хотят говорить со мной. Но ведь я не виновата”.

Аня, набросив халат, быстро вбежала по лестнице наверх. Вот и седьмая палата. Приподнялась на цыпочки и вошла.

У постели девочки дежурила сестра.

— Ну как? — еле слышно прошептала Аня.

Сестра лишь махнула рукой.

— Здравствуй, Катерина, — громко сказала Аня, но слова её, гулко ударив по тишине, остались без ответа.

Девочка лежала, на высоко поднятых подушках, восковое лицо ее могло показаться маской, если б не глаза, они умоляли: “Помогите, помогите, мне очень плохо”.

Вошел Яков Маркович, кивнул Ане, взял руку девочки, послушал пульс, и уже не отходил от неё.

Она вдруг приподнялась в постели, — откуда столько сил в этом измученном тельце?! — сделала какое-то странное движение губами и повалилась на подушки.

Пить, она просит пить. Аня бросилась к графину с водой, налила стакан, подбежала к девочке.

Яков Маркович отстранил ее рукой.

— Не надо, уже не надо.

Вечером Главврач предложил Ане принять участие во вскрытии. Если б только можно было отказаться! Какой это ужас смотреть, как будут резать хрупкое прозрачное тельце, к которому она еще так недавно прикладывала свое лицо, слушая далекое биение сердца.

В институте к вскрытиям привыкла, поначалу лишь много курила, чтобы заглушить подкатывающуюся тошноту. Но одно дело вскрытие незнакомых, другое — этой девочки, болезнь которой прозевала она, Аня.

Вскрытие показало — тяжелое отравление организма, полное перерождение всех органов, в желудке несколько глистов. Составили акт, подписали. Аня все ждала, что скажет Яков Маркович, её взгляд спрашивал: “Я виновата, скажите, умоляю, виновата?” Если б только он сказал:— Не волнуйтесь, Анечка, вы ни при чем... или хотя бы положил ей на плечо руку! Но он молчал, упорно молчал. И что означало это молчание? Укор им всем, может быть, всей медицине, или же только ей, одной ей? При чем тут медицина вообще! Яков Маркович, наверное, бы не прозевал болезни. А вот она...

Аня выбежала из прозекторской, всё закружилось перед глазами. Раньше это казалось возможным лишь в кино, но, оказывается, так бывает и в жизни. Ели, телеграфные столбы, двухэтажное белое здание больницы, даже небо, серое, грязное небо вдруг сдвинулись со своих мест и закружились. Что с ней. Это какое-то наваждение. Она глубоко вздохнула морозный воздух, зажмурилась и с минуту простояла недвижимо. Когда открыла глаза, всё вернулось на свои места, ничего не изменилось, а девочки-то ведь нет. Почему смерть скосила именно ее, школьницу, начинающую жить?! Да, конечно, справедливости нет. Если вдуматься, в мире существует лишь человеческая мечта о справедливости.

Аня тряслась в автобусе, плелась домой по поселку — тихая, угрюмая, будто пришибленная, но на самом деле все в ней горело, она задавала себе одни и те вопросы: почему? Почему отравление? Кто виноват?

Утром, как только она вышла из дому, первой мыслью было идти к Пивоваровым, что-то сказать им, объяснить, утешить. Как только вспоминалось лицо бабушки, полное слез и такой безысходной тоски, что хоть в омут бросайся, не могла уже пересилить себя, ноги не несли туда. И что она может сказать им, чем утешить? В конце концов, она же только врач, не больше. Одни невежды думают, что врач в состоянии распознать любую болезнь. Она не вылечила Катю не потому, что плохо лечила ее, а потому, что не смогла, никто не смог ее вылечить. Ведь человеческий организм не машина, где для того чтобы найти причину поломки, можно разобрать ее.

Эти мысли оправдывали ее. Катина смерть казалась теперь неотвратимой. И что бы ни говорили, хотя медицина многое умеет и знает, еще большего она не умеет и не знает.

Аня повернула к больнице.

Сегодня дежурила Мохова. Она встретила Аню еле заметным кивком головы, ничего не сказала, не спросила. Тоже, наверное, обвиняет. Как легко обвинять! А вот побыли б на моем месте! А ну их всех!

Аня по привычке машинально провела пальцем по кушетке. Укорять могут, а следить за чистотой трудно...

— Почему пыль, Евдокия Ивановна?

— Дети гибнут, а тут про пыль.

— Что вы сказали?

— Ничего не сказала, ничего.

Мохова схватила тряпку и с такой силой принялась вытирать кушетку, словно хотела стереть ее с лица земли.

Надо бы сказать ей: “Бросьте, это дело санитарки”, но Аня раздумала. А может быть, Мохова и права.

На следующий день в поселке хоронили Катю Пивоварову. Похороны случались здесь редко и поэтому всегда были событием. Внезапная же смерть девочки поразила всех. Поэтому они были особенно многолюдными. Аня понимала, что ей следует пойти на похороны. Последний долг. Так принято. Но если придет, родители будут коситься: “Почему не зашла, не поговорила?”

Сама она при виде всей этой грустной церемонии, наверное, не выдержит, расплачется. А кумушки заголятся: “Гляди, докторша наша разревелась. Поздно реветь теперича, не



гробила бы дите. И чему их только там учат, в городе?!” Да если она и не заплачет, все равно так будут говорить.

И Аня нарочно затянула обход больных, чтобы как-то оправдаться перед собой и не поспеть на похороны.

Пивоваровы на поминки денег не пожалели. И водки было много, и брагу сварили. Люди с похорон пришли промерзшие, усталые и поэтому пили и ели с охотой. Как это полагается, на поминках речей было множество, и все речи казались очень хорошими и красивыми. Чем больше в этих речах хвалили Катю, тем больше пил Пивоваров. Каждая похвала лишь усиливала горечь утраты.

Когда было выпито уже изрядно, Пивоваров сам встал из-за стола и тоже начал произносить речь. Он никогда не отличался красноречием. Невольно, без его желания, наряду с теми словами, которые он хотел сказать, вырывалось еще много разного словесного мусора.

— Спасибо, значит, за то, что вы высказали, дорогие гости, я это говорю в порядке, так сказать, благодарности. Но есть здесь, значит, так сказать, и другой вопрос. Почему дочка погибла, — я спрашиваю. Из-за докторов, потому что наша поселковая врачаха совсем не врач, а коновал. Это она угробила девчонку. Вы, конечно, можете поинтересоваться в порядке проверки: доказательства есть? А вот они, так сказать. Почему она на похороны не пришла, даже в порядке вежливости? А потому что боится, испугалась. Но я ей еще покажу.

— Брось ерунду молоть. При чем здесь докторша. Разве ты не показывал девочку районному педиатру, и он тоже ничего опасного не нашел, — возмутился Леша.

— Да, да, не нашел, — еще громче, словно эхо, повторил его друг Сеня.

А Мясоедов-лесоруб, вышедший недавно на пенсию, дернув себя за кончики усов, громко начал говорить о том, что медицина, хотя и наука хорошая, но еще темная, а докторша — врач молодой, и винить ее нечего. Говорил, как всегда обстоятельно, с удовольствием слушая, как гладкие фразы выкатываются изо рта и удивляясь собственному красноречию.

Наконец, гости начали расходиться. Последним задержался фельдшер Сопелкин. Он тоже поднялся.

— Медицина — темная наука? Болван. У этого Мясоедова размягчение мозгов от старости начинается. Девчущку твою докторша погубила, это я тебе говорю, медицинский работник.

— Садись, Петрович, садись. Баночку еще раздавим.

Пивоваров налил по стакану, жена и бабушка ушли на кухню мыть посуду. Самая подходящая для откровенного разговора обстановка. Чокнулись, выпили. В голове заиграло, закачало, словно на корабле в штормовую погоду, а на душе легко, свободно.

— Не оставляй этого дела, Кузьмич.

— И не оставлю, нет. В обком напишу, так сказать, в порядке не мести, нет, а как бы это выразиться?

— Возмездия.

— Вот-вот, совершенно верно. Прямо сейчас и напишу. Поможешь, Петрович?

— С удовольствием.

Письмо сочиняли долго. Написали, что врач Бужина выписала больную девочку из больницы, отравила её лекарствами, отказала затем в помощи и поэтому девочка умерла. Такой врач — позор для всей советской медицины.

В конце, по предложению Сопелкина сделали приписку о том, что Бужина просила деньги за лечение.

— Так оно, Кузьмич, крепче будет. Ведь не пишешь, что она специально, на почве взяточничества, загубила девочку, а только предположение высказываешь, тень наведем, это надо.

— Нехорошо, Петрович. Денег же она на самом деле не просила, вроде, так сказать, неправда получается.

— Дурак, ты, Кузьмич, не просила. А кто же просит? Дал бы сам, понимать надо, так девочку она бы не выписала, не выгнала б больную из больницы, не загубила бы её.

— Может и так.

— То-то же. А что теперь тебе считаться с нею. Она ведь с тобой не посчиталась. Кто твою Катю угробил? Она. Факт?

— Факт.

— Так что же жалеть её, суку этакую, ежели она тебя, отца, не пожалела!

— Это верно, Петрович.

— Ну, поехали, — Сопелкин поднял стакан с брагой.

— Поехали, Петрович.

— А письмо давай сюда, я сам отправлю, не то, пьяный, потеряешь.

В первые дни Аня никого не хотела видеть, ни с кем говорить. Из дому в больницу, из больницы домой, в кровать. Мрачные думы обступали со всех сторон. Как же она не заметила отравления организма в больнице или хотя бы на следующий день? Но ведь районный педиатр осматривала девочку еще позднее и также ничего не обнаружила? И все-таки настоящий

врач не должен был просмотреть. Не должен был — повторяла она, не должен был, — и эти три слова окончательно лишали покоя. Ночью же начинались кошмары. Над снежной равниной шумели от ветра зелёные кроны деревьев, жгло солнце, но ей было холодно, она дрожала в зимнем пальто и вязаном платке. Вдруг увидела по хрустящему снегу босыми ножками бежит Катя, худенькая, как былинка, такая же белая, как снег. Девочка протягивала свои ручонки и со слезами просила: “Помогите, доктор, спасите меня”. Аня хотела броситься к ней, но не могла сдвинуться с места, ноги, будто каменные, вросли в землю. Когда же Аня просыпалась в поту, измученная сном, думалось: “Лучше бы со мной что-нибудь случилось, чем весь этот ужас, честное слово, лучше бы со мной”

Все это время никто не звонил из райбольницы. Неожиданное равнодушие и тишина. Даже Яков Маркович не интересовался ею. Сестры, прежде такие общительные, делившиеся с нею всеми своими делами и переживаниями, теперь вдруг стали чуждаться её. Наверное, и они осуждают. А быть может, это только кажется, игра болезненного воображения?

Как-то по пути из больницы Ане встретился секретарь наркома леспромхоза Весняк — полный мужчина, в очках, военный в отставке. Когда Аня о ком-нибудь думала: “Вот это положительный человек, честный, умный, дельный”, то вместо всех этих долгих слов, кратко определяла — такой, как Весняк.

— Что это с вами, Анна Васильевна, — спросил он, — побледнели и похудели как будто?

— Да так.

— Не влюбились ли?

Быть может, в другое время Аня покраснела бы, сейчас же лишь махнула рукой, мол не до того ей.

— Наверное, все еще переживаете из-за дочери Пивоварова?

Она мотнула головой.

— Это вы зря. Тут уж ничем не поможешь. Мы ведь понимаем, что вы сделали все возможное для ее спасения,

Аня молчала. Да, пожалуй, всё возможное.

— А на Пивоварова, — продолжал Весняк, — на то, что он ворчит и дуетя, не обращайтесь внимание. Ведь тяжело ему. К тому же хорошего человека горе делает, как правило, еще лучше, а плохого еще хуже.

— Спасибо за ваши слова.

Она смутилась и, не попрощавшись, быстрым шагом пошла домой. И только в этот вечер, наконец, ответила на

многочисленные письма Андрея Петровича. Писала, что здесь, в самом деле, очень хорошая охота, и она уже договорилась с директором местной школы о комнате дня него, пусть приезжает поскорее.

Через две недели неожиданно Аню вызвали в райбольницу к главному врачу.

— Приехал судебно-медицинский эксперт из области, будет производить эксгумацию трупа Кати Пивоваровой. Вам придется присутствовать при новом вскрытии.

— Что случилось?

— Точно не знаю. Как будто есть жалоба на вас о неправильном лечении.

— Но ведь не я одна, никто из врачей не распознал причины отравления, да и самый факт отравления обнаружился так поздно.

— Посмотрим, Анна Васильевна. Что сейчас говорить, мы же ничего не знаем. Да, вам придется пока остаться у нас в районной больнице, попрактикуетесь.

— Но на кого я оставляю свою больницу?

— Там пока, как и до вашего приезда, будет Сопелкин.

Зачем он так язвительно упомянул: до вашего приезда?!

— Но...

— Анна Васильевна, таковы указания сверху. Сами понимаете, я ничего не могу сделать.

С этого дня все перевернулось в Аниной жизни. Она почувствовала, что над ее головой сдвигаются невидимые тучи, что-то затевается против нее, плетутся какие-то таинственные сети. Но она верила: все должно разъясниться, в этом деле разберутся и поймут, что она не виновата.

Она десятки раз восстанавливала в памяти, час за часом, всю картину болезни. Да, её можно обвинить в том, что сразу она не распознала отравления организма у девочки, но ведь не было никаких видимых признаков. И все-таки надо было заметить. Она плохой диагност, неопытный врач. Но это же не преступление.

И сколько раз самым строгим образом Аня не допрашивала себя, сколько раз не придиралась к себе — она была виновата не больше, чем любой другой молодой врач на ее месте. Она могла бы теперь сказать о себе, что прошла через самый тяжелый и суровый для честного человека суд — суд собственной совести, и он вынес ей оправдательный приговор.

А тучи, действительно, сгустились над Аниной головой. Как это иногда бывает, десятки случайностей вдруг непостижимым образом стали оборачиваться против нее. Быть

может, в другое время и при других обстоятельствах никто не придал бы того значения письму Пивоварова, какое ему придали сейчас. Нередко родственники при внезапной и нелепой смерти близких склонны сваливать всю вину не на саму болезнь, а на врачей. Аня же молодой, неопытный и, как писалось в её характеристиках, в высшей степени добросовестный и инициативный работник. Поэтому в обычных условиях по заявлению Пивоварова было бы, наверное, назначено объективное расследование и, скорее всего, это письмо расценили бы, как стандартную попытку свалить вину за постигшее горе на врача. Но на Анино несчастье как раз сейчас был назначен новый заведующий облздравом. Он относился к числу руководителей, которые полагают, что их высшее назначение заключается в том, чтобы распекать подчиненных, держать их в постоянном страхе. Себя же, эта подмеченная еще Гоголем и до сих пор не исчезающая категория начальников, считает существами особыми, вышшими, начисто забывая, что и они в недавнем прошлом пребывали среди простых смертных.

Письмо Пивоварова пришло в облздрав из обкома партии с резолюцией секретаря обкома о необходимости проверки фактов и привлечения виновных к ответственности. Резолюция показалась новому заведующему грозной и требующей экстренных мер. К тому же это был первый подходящий случай для того, чтобы известить суровым приказом подчиненных о своем восшествии на высокий пост. Заведующий облздравом вызвал к себе судебно-медицинского эксперта Бричкина, о котором еще раньше был наслышан как о самом придиричивом и въедливом из экспертов.

Разговор был кратким.

— Товарищ Бричкин, вы сегодня же должны выехать в район, там творятся безобразия, к нам поступило письмо из обкома партии.

Бричкин застыл в ожидании. Судя по всему, новое начальство жаждет чьей-то крови. Ну что ж, это можно.

— Думаю, что придется материал на врача передавать в прокуратуру. Надо учить людей честно и добросовестно относиться к своему долгу.

— Совершенно верно, — поддакнул Бричкин, — можете быть уверены, я все исследую.

Можно было, конечно, прямо сказать не “исследую”, а “установлю виновность”, но все-таки осторожность превыше всего.

Бричкин никогда не любил своей должности. Эксперт не врач, а регистратор событий, так как никого не лечит, само же название “врач” происходит от слова врачевать, то есть лечить. Но он ни за что не согласился бы стать лечащим врачом. Бегать по лестницам, выслушивать больных, отвечать за них — это не для него. Эксперт все-таки наименьшее из двух зол. Его мечтой со студенческих лет было выбиться в руководители, распоряжаться, командовать. Поговаривают, что начальник бюро судебно-медицинской экспертизы уходит на пенсию. Вот бы его место занять, всё, конечно, будет зависеть теперь от нового завоблздравом. Надо только сразу понравиться ему.

И Бричкин поехал в район с предвзятым мнением, с желанием непременно установить вину Ани в смерти девочки.

Первым делом он вызвал к себе Пивоварова и подробно записал его объяснения, оттеняя и усиливая в записи всё, что говорилось о невнимательности врача и неправильности лечения. Бричкин сразу же ухватился за слова Пивоварова о том, что у ребенка не очистили в поселковой больнице, как следует, желудок.

В этом все дело — осенило его, — вот где подлинная причина отравления. Ядовитое вещество — сантонин — оказалось не выведенным из организма. Когда же при повторном вскрытии трупа девочки Бричкин нашел в кишечнике переваренные остатки пищи, он очень обрадовался. Врач Бужина не очистила больной желудок, благодаря этому сантонин остался в организме и явился причиной отравления. Налицо стройная и ясная картина. Врач, который обязан спасать человеческие жизни, из-за неправильного лечения отравил ребенка.

Он вызвал, наконец, и Аню. Принял ее в кабинете главного врача райбольницы.

— Садитесь, — сказал он таким тоном, что Аня сразу же почувствовала себя обвиняемой.

Сухощавый, наполовину облысевший, с отсутствующим взглядом больших на выкате глаз и неприятным скрипучим голосом, Брички разговаривал с ней пренебрежительно, сквозь зубы; казалось, что он насилует себя, снисходя до беседы с ней. И, хотя эти слова не были произнесены, но резкость его тона, барские жесты совершенно ясно говорили: “Девчонка, а не врач, зачем только таким желторотым доверяют больных?” А спрашивал он несколько раз одно и то же:

— Почему при выписке из больницы вы не очистили девочке желудок?

— Я дала ей слабительное.

— Недостаточно.

— Но это не могло иметь серьезного значения.

— Ошибаетесь.

— Не понимаю.

— Увы, вы слишком многого не понимаете.

— Простите, мне неясно, что означают ваши слова?

— Весьма прискорбно, что вам это неясно, вы же, кажется, врач. Скажите, пожалуйста, что я обнаружил при эксгумации, повторном вскрытии трупа ребенка, а вы не зафиксировали этого в первичном акте вскрытия?

— По-моему ничего такого.

— По-вашему ничего? Странно. А, по-моему, кое-что.

Его голос скрипел, словно тупое перо по шершавой бумаге.

Аня растерялась. О чем он говорит?

— Да, кое-что, — повторил Бричкин и вдруг, наклонившись к Ане, со злобой выпалил, — и это кое-что, как вам известно, не выведенные из организма переваренные остатки пищи, обнаруженные мною в кишечнике. Может быть, непонятно? Может быть, надо сказать яснее, проще?

— Не надо, — покраснев и растерявшись, сказала Аня, — но мне неясно, какое это имеет значение?

— И меня об этом спрашивает врач? Весьма прискорбно.

Аня, наконец, собралась с мыслями.

— Ну, хорошо, предположим, у себя в больнице я не очистила девочке, как следует, желудок. Но ведь это было сделано в последующем у нее на дому. Значит, обнаруженные вами остатки относятся уже ко времени ее пребывания в районной больнице. А главное, какое вообще отношение может иметь вся эта чепуха к смерти девочки?

— Самое прямое, — с еще больше злостью проскрипел Бричкин.

Мало того, что она не врач, а желторотая девчонка, оказывается, она и нахальная — подумал он об Ане, и еще больше разозлился.

Если раньше Аня могла хоть немного, самую капельку, надеяться на его снисходительность, теперь об этом не могло быть и речи. Он ей покажет: что такое чепуха, научит, как надо разговаривать с экспертом.

— Мне кажется, вы меня в чем-то обвиняете? — спросила Аня. — Скажите прямо, в чем я виновата?

— Вам впоследствии дадут ознакомиться с моим актом и экспертным заключением. До свидания.

Последние слова он проговорил так, будто хлопнул дверью на ржавых петлях.

— До свидания, — машинально пробормотала Аня, хотя ей вовсе не хотелось никаких свиданий с ним.

В тот же день Бричкин уехал из района, никому, не сказав о своих выводах.

В Ленинграде, проделав необходимые химические исследования внутренностей трупа ребенка, которые, как и следовало ожидать из-за давности отравления, не дали никаких результатов, Бричкин сразу же составил заключение и представил его лично заведующему облздравом. Толчок был дан. С этого момента и началось дело врача Анны Бужиной. На следующий день был издан приказ по облздраву: главврачу районной больницы строгий выговор за бесконтрольность, районному педиатру Чулковой, осматривавшей девочку Пивоварову, строгий выговор с предупреждением, Бужину немедленно снять с работы и отдать под суд.

Еще до того как в районную больницу был послан этот приказ, к прокурору района направили письмо с просьбой о привлечении врача Бужиной к уголовной ответственности. К этому письму приложили акт эксперта Бричкина, копию заявления Пивоварова в обком партии и все материалы, собранные экспертом. Аня пребывала в неведении. Она понимала, что заключение Бричкина будет неблагоприятным. Но ведь не сошелся же весь свет клином на этой высушенной вобле, на этой сове с выпученными глазами в роли эксперта. А как быть? Что делать теперь? Первая мысль — пойти в райком партии. Но о чем она будет говорить там? Ведь пока ничего неизвестно, заключения еще нет. Придет к серьезным людям девчонка и начнет рассказывать о каких-то, может быть, и пустых страхах, и подозрениях. Неумно и несолидно.

И Аня никуда не пошла. Она продолжала работать в райбольнице, достала всевозможную литературу о глистных заболеваниях, кое-что нашлось в самой больнице, кое-что специально выписала из Ленинграда. Запросила институт — профессора Торичева о том, как надо выводить сантонином глисты.

Его ответ обрадовал. Она лечила по правилам, сантонин давался нормальными дозами, в установленные всеми учебниками и справочниками промежутки, все делалось так, как этого требовали наука и опыт. Оставалось непонятным, почему эксперт так заостряет вопрос о необходимости очищения у девочки желудка. За эти дни Аня немного успокоилась. Никто ее больше



не теребил, не тревожил. Аня несколько раз заходила к главврачу, спрашивала, не пришло ли заключение эксперта. Главврач уверял, что все обойдется, обещал ей скорое возвращение к себе в поселковую больницу.

— Может быть, вам дадут выговор, — сказал он, — ну, строгий выговор. По-моему, вы не виноваты. Очень трудно было распознать вначале отравление у ребенка. Но раз заварилась такая каша, от выговора не уйти.

Нет, она вовсе не собиралась уходить или уклоняться от выговора. Надо было быть внимательнее. Пусть хоть строгий выговор, но только бы вернуться в свою больницу.

Окончив во вторник дежурство в районной поликлинике, Аня решила пойти в клуб посмотреть новый фильм. Надо было еще успеть забежать домой, так как с собой не было денег. Аня снимала здесь временно комнатку вблизи от поликлиники у одной пожилой медсестры. Хозяйка сразу же огоршила ее.

— Аня, вам принесли повестку,

— Куда? В военкомат?

— Нет, в прокуратуру.

— В прокуратуру? Где она?

Аня развернула маленький белый прямоугольник бумажки. “*Гр-ке Бужиной А.В.*”. Ах, вот как, уже не товарищу Бужиной, а гражданке. Явиться сегодня к 17-ти часам.

Она взглянула на часы. Было без десяти минут пять. Пожалуй, еще успею — подумала она.

Аня быстро шла по улице своим обычным напористым шагом. Даже удивилась: она рада, да, как это ни странно, рада тому, что наконец-то её вызывают в прокуратуру. Кончится неизвестность, обволакивающая, как туман, она сможет всё толком объяснить, сомнения рассеются, она спокойно вернется работать в свою больницу.

Прокуратура помещалась в маленьком деревянном домике. Аня вошла в первую комнату, там сидела девушка, медленно печатавшая что-то на машинке.

— Меня вызывали сюда, — Аня протянула повестку.

— Вы Бужина?

— Да.

Девушка странно, с нескрываемым любопытством и удивлением, посмотрела на нее и, ничего не сказав, убежала в соседнюю комнату.

Через минуту она вышла.

— Пройдите к прокурору.

Аня открыла дверь и очутилась в большой комнате, где за столом сидел молодой человек с университетским значком на лацкане форменного пиджака, худым желтоватым лицом, тонкими губами и водянистыми точками глаз. Это был исполняющий обязанности прокурора Михновский.

Когда Аня вошла в кабинет и неуверенно сказала “Здравствуйте”, Михновский ничего не ответил ей, он углубился в толстую папку с бумагами. Аня повторила: “Здравствуйте”.

Михновский, не отрываясь от бумаг, сквозь зубы бросил:  
— Садитесь.

Бумаг, лежащих перед ним, он на самом деле не читал, а схватил их со стола только, когда ему сказали, что пришла Бужина. Пусть она не воображает, что здесь лишь ее делом заняты. Обвиняемого надо выдержать: чем больше просидит в томительном ожидании, в страхе перед неизвестным, тем податливее будет.

Михновский работал второй год в прокуратуре, последние 6 месяцев помощником прокурора, и сейчас случилось так, что прокурора района вызвали в Ленинград на курсы, другой помощник болел уже второй месяц, и он оставался исполняющий обязанности прокурора. Неожиданная власть кружила голову. Чертовски хотелось отличиться. И, как на зло, ни одного стоящего дела в районе — ни убийства, ни налета, ни крупного хищения, — одни мелкие кражи да хулиганство. И вдруг грозный материал на Бужину прямо из области — врач, отравивший ребенка. Такого случая можно всю жизнь дожидаться. Возбуждать дело по обвинению в халатности? Это проще всего, тут большого ума не надо. А вдруг удастся доказать убийство с косвенным умыслом. Врач знал, что, давая сантонин и не очищая желудок, он ставит ребенка в опасность смертельного отравления. Бужина, следовательно, допускала возможность смерти девочки. Более того, из заявления Пивоварова видно, что она требовала деньги. Если не убийство, то вымогательство взятки.

Михновский задумался. Да, это настоящее дело. И сразу же представилось: большой зал районного Дома культуры. Он встает из-за своего столика на сцене, бледный, с откинутыми назад волосами; в каком-то фильме вот также вставал прокурор, и зал замирал от восторга. Крупным планом застывшие лица публики, у всех широко раскрытые глаза. Он начинает свою речь тихо, медленно, но значимо: “Товарищи судьи! Перед вами женщина, которой народ дал образование врача, ей было доверено самое святое и ценное — здоровье наших людей, наших детей”. Детей у него не было, и он их никогда не любил, но как это здорово звучит

— наших, именно НАШИХ детей. Голос его повышается, звенит все громче, стальной, несгибаемый голос, точно так же, как в том фильме: “И что может быть благороднее и прекраснее профессии врача?!” Рука его взмывает в воздух, глаза горят, грозный голос обличает: “А Бужина растоптала это великое и святое звание”. Грохот аплодисментов. Да, после такой речи быстро разнесется по области слава о нем, как о выдающемся прокуроре, замечательном ораторе. Его сразу же переведут в город. О дальнейшем и мечтать не решался.

Как-то еще на практике в Ленинграде, ему говорили: “Поменьше воображения. Юрист имеет дело с фактами, только с фактами, особенно прокурор”. Чепуха, воображение необходимо везде. И избыток воображения — это вовсе не беда, а достоинство. Оно помогает ему видеть каждое дело в его развитии. Вот в чем суть. А это дело, конечно, очень перспективно. Только Бужину надо сразу же арестовать. Если она останется на свободе, хлопот не оберешься — станет отказываться, начнут просить за нее. А так разговор короткий — арестована, тяжелое преступление, и все отступятся, испугаются. А если ничего не выйдет с обвинением в убийстве и взяточничестве, халатность здесь наверьняка. Тогда она получит свои полтора-два годика, и никто не обвинит его в необоснованном аресте.

И Михновский, ни с кем не посоветовавшись, сразу же составил два постановления — о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения. В этом постановлении он написал: *“Избрать Бужиной в качестве меры пресечения содержание под стражей, учитывая, что она может уклониться от следствия и суда”*. Эта стереотипная фраза писалась сама собой, не заставляя задумываться над своим содержанием. Но сейчас, перечитав написанное, он подумал: “Звучит неубедительно. Каждому ясно, что она не сбежит ни от следствия, ни от суда”. И он дописал, чтобы казалось покрепче: “А также учитывая особую тяжесть содеянного”.

Михновский не смог скрыть удивления, когда оторвал глаза от бумаг, вытасненных впопыхах, чтобы создать видимость занятости, и взглянул, наконец, на Аню. Перед ним сидела хорошенькая раскрасневшаяся девушка. И её, вот такую, обвинять во взяточничестве, даже в убийстве?

Но он мгновенно подавил закрывшееся сомнение. Внешность — маскировка, камуфляж. Коновал она, хапуга, а играет под этукую миловидную невинность.

— Я вызвал вас сюда, гражданка Бужина для того чтобы исполнить постановление о вашем аресте.

— Что?!

— Вы арестованы, — повторил, повышая голос, Михновский.

— Почему? — растерянно спросила Аня, еще не понимая до конца, что это всё происходит не в кино, не в романе, а на самом деле и не с кем-либо другим, а именно с нею. Если бы сейчас вдруг, среди зимы, вскрылась Свирь и в буйном половодье затопила бы поселок, она, наверное, не была бы так удивлена, как от этих громовых слов: “Вы арестованы”.

— Сейчас вас доставят в камеру предварительного заключения.

— Я не понимаю, я ничего не понимаю. Здесь какая-то ошибка. Почему? За что?

Михновский даже испугался. Огромные голубые глаза Ани смотрели на него с таким нескрываемым удивлением, с такой неподдельной болью, что никакие удобные формулы не могли заглушить вновь разгоравшихся сомнений.

Но сейчас уже поздно, дело сделано, пути назад нет и быть не может. Нельзя же расписаться в собственной глупости. Что бы там ни было, но он обязан теперь доказать её виновность.

— Вы подозреваетесь, точнее, обвиняетесь в ряде преступлений, но о них мы поговорим завтра.

Он нажал кнопку звонка. Вошла та же девушка, секретарь.

— Конвоиры здесь?

— Да.

## Глава 4

### Дневник Ани Бужиной

15/III-1957 г. Я даже в книгах, кажется, не встречала, чтобы заключенные писали в тюрьме дневники. Впрочем, неправда, где-то было похожее. Но не в этом дело. Раиса Григорьевна таинственным образом достала сегодня две толстых тетради, три карандаша, передала мне и говорит:

— Пиши, Анечка, дневник, это очень успокаивает.

— Но вы же сами можете писать.

— У меня глаза болят, а тебе нужно писать, мысли ясней делаются.

О чем писать? Сегодня юбилейная дата — ровно месяц с тех пор, как я перестала быть “дохтуром”, врачом Анной Васильевной Бужиной, а стала арестованной, заключенной.

Первые дни было совершенно невыносимы, камера при отделении милиции в нашем райцентре, какие-то пьяные буяны за стеной. Вечером, когда натоплена железная печурка, — жарница, утром невероятная холодина. Но худшее было не в этом, я никак

не могла свыкнуться с мыслью о том, что оказалась здесь без вины. И меня страшно бесил этот индюк Михновский.

— Арестованная Бужина, вы обвиняетесь во взяточничестве.

Мне хотелось выцарапать его кошачьи глаза, но я только пролепетала:

— Как вам не стыдно.

Глупенькая, ты еще не знала, что “Бюрократ и стыд две вещи несовместимые”. Этим людям попросту неизвестно о существовании такого чувства.

— Вы требовали денег от Пивоварова за лечение его дочери.

В первое мгновение я даже не поняла, говорит это Михновский всерьез или в шутку.

— Вы с ума сошли, — ответила я.

Непроницаемый, но вежливый Михновский преобразился. На его бледном лице загорелись красные пятна.

— Вы забываетесь, обвиняемая. Это к добру не приведет. Я повторяю вопрос. Следствие располагает данными о том, что вы требовали у Пивоварова деньги. Отвечайте!

Он говорил всерьез. Какими данными? Что за чушь! Ложь, гнусная, мерзкая лож повисла в комнате. И, удивительное дело, ничего не случилось. Всё продолжало оставаться на своих местах: — стол с двумя тумбами, чернильный прибор, похожий на старинный катафалк, башня из маленьких толстых книжек на столе, потом я уже разглядела — это были кодексы законов, большой печатный плакат на стене, изображающий народный суд, — красивый мужчина посередине, двое заседателей по бокам, у них хорошие, я бы даже сказала — справедливые лица. Но все молчало, оставалось недвижимым, чернильница не подпрыгнула, башня не развалилась, а судьи на плакате не ужаснулись. И я даже успела подумать: “А ведь как было бы естественно, если бы все это неестественное случилось на самом деле”.

И только тогда я, наконец, поняла, в чем дело, почему меня арестовали. Я потребовала немедленной очной ставки с Пивоваровым, я просила допросить всех сотрудников больницы, леспромхоза, весь поселок. Михновский же только улыбался.

— Ну что вы, Анна Васильевна, не надо горячиться. Ведь излишняя горячность говорит против вас.

Я так и не поняла, что он хотел этим сказать. Сейчас мне неприятно вспоминать все эти дни. Я еще надеялась: Михновский прокурор с университетским образованием, он должен понять, что это клевета, я смею убедить его.

Наивная девчонка! Можно убедить человека, но невозможно убедить кусок льда.

Конечно, Михновский отказал мне в очной ставке. Никого не допросил из поселка. Хуже того, он вдруг вызывает меня на третий день любезный такой, даже приветливый.

— Анна Васильевна, вы никогда ещё ее интересовались теорией уголовного права?

— К счастью своему или к несчастью, но как говорили когда-то: господь уберег.

— А жаль, очень жаль.

Его тонкие губы вытянулись, глава сузились. И, помню, мне вдруг стало не страшно, а смешно. Я еще подумала, что он сделался похожим на Лису Патрикеевну, ту самую, что так поражала меня в детских сказках своей хитростью, и волка она обманула серого, и медведя могучего. Такой её и рисовали в сказках, всё тоненькое, узенькое, черточки вместо рта и глаз.

— А почему вы сожалеете об этом? — спокойно спросила я.

— Потому что, если бы вы были знакомы с теорией уголовного права, то понимали бы: как тяжело ваше положение.

Я не реагировала на его слова и упорно молчала.

— Видите ли, Анна Васильевна, в уголовном праве существует такое понятие — эвентуальный или косвенный умысел. В отношении Кати Пивоваровой вы действовали именно с таким умыслом. Понятно?

— Нет.

— Ну что ж, тогда я объясню вам.

И нудным голосом он стал объяснять мне, что такое косвенный умысел. Мол, человек знает и понимает, что в результате его действий другой умрет, но сам специально его смерти не желает. И снова он спросил:

— Теперь вам понятно?

Но я ведь тоже из упрямых.

— Нет, непонятно.

— Ну, знаете, вы прикидываетесь непонимающей.

Неужели это профессиональная привычка считать, что всегда все прикидываются, врут, изворачиваются?! Если так, то, честное слово, это противная профессия.

— Что же вы молчите?! — закричал Михновский.

— Мне нечего говорить.

— Нечего?! А сантонин вы давали девочке?

— Давала.

— Вы знали, что это ядовитое вещество?

— Знала, но я давала его лечебными дозами.

— А из желудка это лекарство, или точнее, яд, вы не вывели и, таким образом, отравили девочку, на юридическом языке — совершили убийство. Само собой разумеется, никто не обвиняет вас в том, что вы хотели ее смерти. Как я уже объяснял, это было бы убийством с прямым умыслом.

Он победно взглянул на меня. Наверное, восторгался в это время своей ловкостью и умом. Странно, я не удивилась, услышав всю эту чепуху. Три дня оказались достаточными для того, чтобы я научилась не удивляться. Я понимала, что против меня выдвинуто страшное обвинение, и мне предстоит тяжелая и долгая борьба. Оказывается, не так уж трудно накрутить что угодно, невероятно запутать самые простые, самые элементарные вещи. И все это происходит только от привычки подозревать всех непременно в самом низком и гнусном, от желания обвинить, чего бы это ни стоило, от отсутствия здравого смысла.

У меня здесь много времени, я ничем не занята и, видимо, поэтому без конца размышляю над разными вопросами. И, например, я часто задумываюсь над тем, что за великое дело здоровый смысл. Скольких заблуждений, глупостей и бед могли бы избежать люди, если бы у всех всегда присутствовал простой здоровый смысл. Надо было бы во всем мире, в каждом городе поставить ему памятники за всё то, что он уже сделал, и за то, что он еще должен сделать людям, — предостерегать от ошибок, уводить от ссор, раздоров и войн, спасать от гибели, помогать разумно строить человеческую жизнь и украшать ее.

Каким он должен быть, этот памятник? Не знаю. Пусть только в каждом городе он будет неодинаковым, везде по-своему, напоминая о том, что без здравого смысла нельзя жить на свете. В одном городе это может быть фигура Санчо Панса, в другом — умного и пожилого рабочего, в третьем — учёного. Впрочем, кажется, один похожий памятник я знаю. У нас в Ленинграде, за зелеными стенами деревьев и кустов, сидит старый человек с книжкой в руке. Всю свою жизнь он учил и до сих пор вот уже больше сотни лет учит людей здраво смотреть на вещи. Кто знает, о чем он думает? Но о чем бы он ни думал — в спокойном взгляде его глаз, в тихой сосредоточенности бронзового лица столько разума, столько народной мудрости, что этот памятник Крылову в летнем саду представляется мне как бы воплощением самого здравого смысла.

Я, кажется, зафилософствовалась. На сегодня хватит.

27/III. Вчера я не могла написать ни строчки. Впервые предложили работать — клеить коробки. И то хорошо, хоть какая-то работа. Всё же это счастье — оказаться среди множества людей, слышать людской гул, перебрасываться словами, смеяться. Вдруг сорок или пятьдесят женщин, долгое время запертые в камерах, оказались вместе в одной огромной комнате, мы — арестантки стали рабочим коллективом. Наверное, поэтому нам было весело. А когда я вернулась в камеру, задумалась.

В таком страшном месте, как тюрьма, в таких ненормальных для человека условиях, люди не теряют своего облика, они улыбаются, смеются, испытывают радость, оказавшись вместе. Так зачем же заключать их сюда, заставляя жить в этих условиях? Почему человеческая мысль — самое великое из всех чудес мира, та мысль, которая научила использовать атомную энергию, создавать машины, способные вычислять, переводить с одного языка на другой, и где-то я читала, даже играть в шахматы и ставить балеты, — эта мысль не хочет, да, не хочет (потому что нет сомнений: она может всё!) ничего придумать взамен проклятых тюрем!

И ведь именно у нас в стране, в силу самих принципов и идеалов нашей жизни, должны покончить с ними. Я не знаю, даже не представляю, как это сделать, но, во всяком случае, уверена, что большую половину из числа тех, кто находится здесь, можно спокойно освободить, они исправятся и без тюрьмы. Ну а как быть с другой, меньшей частью, которую все-таки выпускать на волю опасно? Как заставить их стать честными людьми? Как уберечь от них общество? Вот над чем надо думать, думать и думать.

Я перечитала свои записки. Какой-то винегрет! Мысли разбрасываются, и поэтому никак не могу заставить себя писать все по порядку.

Итак, допросы продолжались. Уставала я от них ужасно. И хотя Михновский ничего не хотел слушать, я без конца доказывала ему, что разговоры о косвенном умысле на убийство — невероятная галиматья, а показания Пивоварова о каких-то деньгах — совершеннейший вздор.

Наконец, он и сам понял нелепость своих рассуждений. Впрочем, может быть, он понимал это и раньше, просто хотел попугать меня. Во всяком случае, через несколько дней он вызывает меня и с таким видом, будто совершает величайшее благодеяние, говорит:

— Я решил пойти вам навстречу, читайте, пожалуйста. Вам предьявляется обвинение не в убийстве с косвенным



умыслом, а в преступной халатности, ну и конечно, в получении взятки от Пивоварова.

Когда же я заявила — виновной себя не признаю ни по одной, ни по другой статье и требую объективного расследования, он вскочил как ужаленный.

— Ну хорошо, я еще могу понять вашу позицию по обвинению в получении взятки, вам стыдно признаться в этом грязном поступке, да и дело было один на один, вот вы и пользуетесь этим. Но как можно оспаривать обвинение в халатности. Вы же девочку все-таки залечили, черт подери! Надо иметь совесть и признать это.

Спокойствие, спокойствие! Я звала тебя все ночи, я молила: “Приди ко мне, помоги в борьбе”. И ты пришло, то спокойствие, когда всё внутри кипит и взрывается, когда хочется кричать, вцепиться в волосы, а ты сидишь невозмутимая, молчаливая, и только, быть может, напряжение, которое видно во всей твоей фигуре, способно выдать тебя опытному наблюдателю,

Я, конечно, понимала, что в моем положении дерзить следователю вредно, но я не смогла удержаться.

— А мне хотелось как раз к вам обратиться с этой просьбой о совести. Но где взять то, чем обделила природа?

Михновский побледнел, его лицо стало восковым.

— Я вам это припомню, Бужина, — прошипел он и сразу же закричал: — Уведите ее!

Не знаю, почему мне вдруг стало легче, словно я освободилась от давящей тяжести. Я знала, что все равно завтра он вызовет меня вновь, и хочет того или нет, но будет вынужден слушать всё, что я скажу ему. И хотя я понимала, что мне предстоят еще долгие и горькие испытания, все же именно с этого момента мне стало ясно: что бы теперь ни наворащивали и ни накручивали против меня, все равно, раньше или позже (от этого “раньше или позже”, в конце концов, и зависит сейчас моя судьба), но непременно все развернется и раскрутится. И там, в этой милицейской одиночке, я вспомнила одну замечательную пословицу. С той минуты она мне помогает жить, я бы написала её как девиз, как лозунг, во всех судебных залах, в кабинетах всех учреждений. Я даже сейчас помню, где впервые прочла её. В большой серой книге “Сочинения Алексея Кольцова”. Когда-то, больше ста лет тому назад, Кольцов разъезжал по степи да по селам и записывал пословицы. Вот она:

*“Правда светлей солнца”.*

Да, светлей, слышите, светлей, светлей!

Когда Михновский вызвал меня на следующий день, и чтобы заставить признать вину, дал читать заключение эксперта, я поняла из-за чего заварилась вся эта кутерьма. Хорошо, что после нелепой смерти Кати, я выписала специальные книги о глистных заболеваниях, написала письмо в наш институт профессору Торичеву. Эксперт, видимо, по невежеству, допустил одну страшную ошибку и в ней-то все дело. Он считает, что я не вывела из организма девочки сантонин, а поэтому она отравилась. Если бы на самом деле это было так, я первая разорвала б в клочки свой диплом и, как о милости, как о великом счастье, просила б разрешения работать не фельдшером, не сестрой, нет, и этого я была бы недостойна, а хотя бы простой санитаркой, уборщицей в больнице. Я считала бы справедливым свое нахождение в тюрьме и с покорностью приняла бы любой приговор суда.

Но ведь в том то и дело, что это неверно. Сантонин тут не при чем, он давным-давно был выведен из организма. Девочка умерла не от отравления сантонином. Я сказала об этом Михновскому, я сослалась на учебники, на ответ Торичева, но он твердил лишь одно:

— Мы верим эксперту.

— Но я прошу тогда назначить другую экспертизу.

— Для этого нет оснований.

Он запретил в милиции давать мне бумагу. Мне все-таки дали. Я написала заявление Областному прокурору с просьбой о новой экспертизе.

На другой день врывается Михновский прямо ко мне в камеру.

— К вам, как к человеку, относишься. А вы еще жаловаться.

— Разве вы собирались относиться ко мне, как к собаке?

— С вами невозможно разговаривать! Не понимаю, почему о вас отзываются выдержанная, скромная. Вы же постоянно дерзите. Смотрите, Бужина.

— А вы мне не угрожайте, товарищ, простите, я не смею так называть вас, гражданин прокурор. Я прошу только о назначении...

Он не дал мне договорить.

— Вам никто не угрожает, запомните это. Ладно. Будет новая экспертиза. Но учтите, это долгая история. Я же вас здесь больше держать не могу, не имею права. Тут КПЗ, камера предварительного заключения, и я буду вынужден перевести вас в Ленинград, в тюрьму.

— Но у вас есть другой выход.

— Какой?

— Освободить меня. Это, пожалуй, проще.

Он посмотрел на меня не со злобой и не с удивлением, а, как мне показалось, чуть ли не с восхищением. Впрочем, женщины часто ошибаются, почему-то им всегда кажется, что на них смотрят с восхищением. Наверное, он просто растерялся, бедняга Михновский.

— Я не могу этого сделать, — сказал он, —

и я поняла, что он и в самом деле не может этого сделать. Нельзя же требовать от него больше того, на что он способен. Как и всякий чинуша, он не в состоянии сам, без указания свыше, признать свою ошибку.

Но он добавил:

— Вам нанесли за эти дни передачи ваши друзья. Вы теперь сможете получить их. Я разрешаю.

Он, наверное, ждал от меня благодарности. Но не дождался. И не дождется.

Через день меня увезли.

Вот так я и оказалась снова в Ленинграде.

## Глава 5

### В тюрьме тоже люди

В Анином сознании тюрьма относилась, скорее, к прошлому, чем к настоящему. К ней было двойное отношение. С одной стороны, ее окружал ореол. Там когда-то находился цвет страны — революционная молодежь. Тюрьма и герой, эти слова были в то время так созвучны. С другой стороны, о тюрьме жило представление как о чем-то большом, мрачном, грязном и невероятно отупляющем, как о месте, где находятся лишь бандиты да убийцы, страшные люди, которых она себе никак не могла представить. Но как и о многих других вещах, о которых мы знаем только по книгам или же понаслышке и с которыми никогда не приходилось сталкиваться, представление о тюрьме жило где-то на задворках ее сознания, прозябало там, не вызываемое к самостоятельному существованию.

И вот теперь она, Аня, оказалась в тюрьме. Когда её привезли сюда и вывели из машины в залитый солнцем двор, окруженный мрачными кирпичными стенами, она всё ещё никак не могла справиться со своими мыслями. Почему такая несправедливость? Нет, не виновата она, не преступница!

Открылись двери, несколько ступеней вверх, мрачный коридор, и её ввели в большую комнату, разделенную барьером. В комнате молодой лейтенант разговаривал с кем-то по телефону, односложно отвечая “да”, “хорошо”, “посмотрим”; старшина, сидя

за столом, старательно чинил карандаши; двое солдат на подоконнике играли в шашки. Никто не обратил на Аню внимания, её даже не заметили.

Капитан, который привез ее, отдал старшине тонкую папку, наверное, с тремя-четырьмя бумажками и, не попрощавшись, ушел. Старшина отложил папку на край стола и с тем же усердием принялся за следующий карандаш. Аня стояла в нерешительности. Напомнить о себе, что ли? Почему здесь их так много, и все они невозмутимы? Привели девушку в тюрьму, а они и видеть этого не хотят. Неужели им уже все безразлично?

Наконец, старшина поднял голову.

— Бужина?

— Я.

— Имя, отчество?

Он медленно записывал в длинную анкету всякие подробности.

Аня, не читая, подписала и спросила, сама понимая, что вопрос пустой и глупый.

— А меня надолго сюда?

— Это тебе лучше известно.

Она хотела было обидеться за фамильярность, но не успела. Старшина вышел из-за перегородки и коротко бросил:

— Пойдем.

Снова коридор. Какой-то особенный воздух — затхлый, с запахом карболки, такой, что никогда в жизни не забудется, и только по одному запаху сразу безошибочно определишь: это тюрьма. Щелкнул ключ в железных дверях и вдруг огромный высокий полутемный зал. Да, пожалуй, такой она и представляла себе тюрьму. Наверху галереи с решетками, повсюду двери, двери, двери с массивными нащепками на окошках глазниц, надзирательницы с неподвижными, словно сошедшими с медалей лицами, ходят вдоль камер, время от времени поглядывая в кружки глазниц, две женщины в темных платьях или, скорее, халатах, с черными повязками на руках скребут и моют пол в зале. Аня поняла: арестантки. Вся эта картина мгновенно запечатлелась в ее памяти, и Аня на какую-то секунду забыла, почему и в качестве кого она очутилась здесь. Резкий крик мгновенно вывел её из забвения.

— Скорей, чего засмотрелась? Проходи.

Аня очутилась в камере.

Клетка площадью в шесть квадратных метров, разрезанная двумя этажами нар с узким зарешеченным окошком наверху. На нарах соломенные тюфяки, в углу ведро, прикрытое

доской, сквозь окошко крохи серого света. Очевидно, что никакому другому цвету, кроме серого, здесь нет и не может быть места.

Дверь захлопнулась. Что ж, в конце концов, это лучше одиночки в милиции. А ведь сказано: от сумы и тюрьмы не зарекайся. Аня впервые вспомнила эту поговорку и приободрилась. Она смелее оглядела камеру. На верхних нарах, свесив ноги, сидела девица с прической под мальчика и явно вызывающим видом. Внизу на нарах помещались двое — пожилая женщина с добрым еврейским лицом, окутанным наполовину поседевшими волосами, и очень миловидная, но с растерянным недоумевающим взглядом женщина лет сорока. Аня села рядом на свободное место.

— За что вас сюда, голубушка?

Пожилая женщина улыбалась ей, и доброе, все в складках морщин, лицо её светилось таким неподдельным участием, что Аня вдруг почувствовала, как к ней возвращаются чуть было не исчезнувшие спокойствие и присутствие духа.

— Не отчаивайтесь, голубушка, не отчаивайтесь, милая. Не так страшен черт, как его малюют. И солоно здесь, и горько, но, уверяю вас, не так уж горько, как вы предполагаете, и не так солоно потому, что, запомните, душенька: мир не без добрых людей, на этом, если разобраться, все держится, уверяю вас, да, да, вся жизнь.

Аня улыбнулась и взглядом сказала:

— Спасибо.

— Вот и будем знакомы, меня зовут Раиса Григорьевна, а вот это — она показала рукой на свою соседку, — Галина, наверху же сидит наша Валентина. Вот все общество. А вас как зовут?

— Аня.

— Прекрасное имя. У меня племянница тоже Аня и такая же молоденькая и хорошенькая, как вы. Но у нее уже двое ребят, подумайте: близнята, мальчик и девочка. Я им купила в подарок одну большую коляску на двоих, вы знаете — какое удобство. Анечка, что с вами? Поправьте волосы. Еще немножко. Теперь хорошо. Женщина везде должна оставаться женщиной. Это я вам говорю, даже в тюрьме. Ну а теперь, если можете, поделитесь с нами: что же привело вас сюда, в чем вина ваша?

— Ни в чем.

— Прикидываешься, — раздалось сверху.

— Замолчи, Валька. Сюда попадают и за пустяки, это верно. Я тоже никак не могла догадаться, за что меня посадили, потом поняла — был грех.

—А я их за собой не чувствую.

— Врешь, тихоня, нашла дурных, так тебе и поверили.

Аня только сейчас рассмотрела Вальку. На ее худощавом и от обильного применения косметики уже дряблом лице бегали колючие, зеленые, как у кошки, глазки, но всё же её маленькое и злое лицо оставалось миловидным. Она легко соскочила с нар, стала напротив Ани и взяла ее вдруг за подбородок.

— Смотрите, курочка, — и рассмеялась.

Аня опешила.

— Уходи, Валька, не приставай, — Раиса Григорьевна оттолкнула её. — Вы, голубушка, не обращайтесь на нее внимание. Она-то хорошо знает, за что сидит, не впервые.

— А здесь, может быть, мне лучше. Бесплатная квартира с освещением, отоплением и питанием на казенный счет, только газу нет, извините.

Валька грязно выругалась, залезла снова наверх и прижалась лицом к решетке окна.

— Слезай, дура, надзирательница увидит.

— Плевать на лахудру. А вон опять этот парень прошел. Милок, милочка. Не слышит, черт!

Она развалилась на своем тюфяке и, заложив руки за голову, стала насвистывать цыганский романс.

Давно известно, что никто так быстро не привыкает к самым невероятным условиям и обстоятельствам, как человек. Аня не предполагала, что она так скоро привыкнет к тюремной обстановке, жизни взаперти, в каменной мешке, где для всего отмерено время: 15 минут на обед, 10 на завтрак, полчаса на прием в легкие чистого воздуха — прогулку в каменном дворике, не думала, что притерпится ко всему укладу этой новой, со своими законами и обычаями, и по существу ненормальной жизни, постоянно, каждой мелочью напоминающей о том, что ты арестантка, подневольный человек без всех тех прав, которые впитались в твою кровь с детства.

Дни ползли один за другим, тягучие, серые. Когда Аню впервые ввели в камеру, она подумала, что не выдержит этого томительного ожидания, бесконечного однообразия тюремного бытия. Но, как и много раз до этого, предположения не совпадали с действительностью. С первого же дня своей новой жизни она погрузилась в её интересы и вдруг эти серые дни стали не такими уж длинными и тягучими. Давно примелькались слова — дома радости или счастья. Так называли образцовые школы, детские сады, клубы, театры, но ни разу не читала о домах горя, а именно так следовало бы назвать тюрьмы. И, столкнувшись вдруг с таким

количеством горя, с разнообразными тяжкими судьбами, Аня не могла остаться безразличной, не могла не жить жизнью своих новых товарищей по несчастью.

Раньше Ане касалось, что здесь могут находиться только очень плохие люди по той простой причине, что хорошие не совершают преступлений. Но все её представления оказались наивными. Здесь были разные люди. И даже у самых плохих вдруг открывались хорошие качества. Нет, при оценке людей нельзя пользоваться лишь двумя красками — белой и черной. Но были здесь и, безусловно, хорошие люди. Вот, например, Раиса Григорьевна. Аня полюбила её с первого же дня. Её нельзя было не полюбить. Эта коротконогая, полная женщина, с наполовину седой головой и то с грустным и скорбным, а то, напротив, бодрым энергичным взглядом больших чёрных глаз, не могла оставаться равнодушной к людям. Если кто-нибудь из знакомых попадал в беду, она непременно старалась его выручить, она не могла не помочь ближнему. Это свойство характера, собственно, и явилось причиной того, что она оказалась в тюрьме.

Аня с трудом заставила её рассказать свою историю.

Раиса Григорьевна потеряла на фронте мужа и сына. Мужа убили в первый, сына в последний год войны. Смерть мужа она пережила легче. Не потому что сына любила больше, пожалуй, не из-за этого. Извещение о гибели мужа пришло в дни голода, когда не знала, удастся ли вместе с сыном выжить в осажденном городе. Смерть все время была рядом, она никого не жалела — косила людей на улице, врвалась в дома, в их квартире за одну неделю унесла трех соседей из пяти, свалила единственных её родственников в Ленинграде, тётю с дядей, и она, пожалуй, не так была огорчена самим фактом их смерти (что поделаешь, умирают все!), сколько тем, что не смогла исполнить последнего долга — похоронить их по-человечески, а лишь довезла на детских санках обернутые в простыни тела до Алексеевского садика, где за кирпичным забором высились целые штабеля трупов погибших от голода людей. Смерть со всеми была запанибрата, и поэтому гибель мужа на фронте воспринималась в те дни не как нелепая случайность или неожиданно пришедшая беда, а как хотя и страшная, но все же неизбежность.

Смерть же сына явилась для нее катастрофой.

Раиса Григорьевна много лет не знала такого радостного дня, каким было 9-е Мая 1945 года. Вместе с десятками тысяч людей она провела его на улице. Повсюду горели алые флаги, а вечером привыкший к мраку город, вдруг зажегся иллюминацией, огнями тысяч фонарей, ламп, не зашторенных окон, это было

целое нашествие огня. Люди ликовали, были вне себя от радости, незнакомые обнимались, военных, особенно если у них на груди звенели ордена или виднелись нашивки ранений, качали, подбрасывая вверх, ближе к огням, к небу.

Город был опьянен радостью. Этот день казался воротами, у которых кончалось все тяжелое, горькое, страшное и открывалась новая жизнь, где все должно быть радостным и счастливым.

Когда же в полночь она добралась домой, из почтового ящика вместе с газетами вынула белый конверт. Адрес написан чужим почерком. Руки дрожали, когда вскрывала его. Маленькая бумажка:

*“Ваш сын пал смертью храбрых при штурме Берлина. Он похоронен с воинскими почестями в трех километрах юго-западнее...”*

Она тут же в дверях рухнула на пол.

Поправлялась долго, с трудом. Жить дальше не имело смысла. Ни семьи, ни сына, для кого жить? Да и чем? Одними воспоминаниями? Но жить надо. Вернуться в школу не могла. Дети напоминали о сыне, теперь он большей частью жил в ее памяти не юношей с завивающимся рыжеватым пушком на щеках, худым, подтянутым, каким ушел на фронт, а упитанным ребенком в коротких штанишках и бархатной курточке. Вот он в первый раз пошел в школу с ранцем за плечами, такой сосредоточенный, важный и поэтому очень смешной, а вот он совсем маленький на плечах у отца, они носят, как угорелые, по комнате, сын в восторге кричит: “Но, лошадка, быстрее, быстрее!” и дергает отца за волосы. Раиса Григорьевна попыталась запретить себе предаваться этим воспоминаниям. И, чтобы повседневное общение с детьми не заставляло нарушать этого запрета, она пошла работать в вечернюю школу для взрослых преподавать биологию. Но удовлетворение находила не в одной работе. Раньше жила для семьи, для сына, для учеников, теперь просто для людей, для тех, с кем сталкивалась.

Для себя жить не могла, это было бы противно её натуре. То она бегала хлопотать об устройстве соседского мальчонки в детский сад, и чтобы помочь занятым родителям, часто сама отводила его в садик и приводила домой, то носилась по аптекам, чтобы достать дефицитные лекарства для больной старушки из одиннадцатой квартиры, то ходила к депутату ругаться, почему в райжилуправлении не принимают никаких мер к ремонту шестой квартиры, второй год потолки протекают, там надо балки менять, а бюрократы включили ремонт лишь в план будущего года.



Если требовалась помощь в трудном деле или умный совет, все в доме обращались к ней. И чем больше она занималась чужими делами, тем лучше чувствовала себя. Ощущение своей необходимости людям делало жизнь наполненной. Было приятно думать: “А как бы они обходились без меня?” — и отвечать: “Да, тугу бы им пришлось”.

Однажды — это было уже давно, больше двух лет назад, — прибежала к ней поздно вечером студентка из двадцать третьей квартиры, Верочка. Раиса Григорьевна отлично помнила, как её, курносую кроху, завернутую в красное одеяло, возили у дома в высокой белой коляске.

— Раиса Григорьевна, родная, милая, вы такая хорошая, вы всем помогаете, помогите и мне, только вы можете спасти меня, — и Вера заплакала, — я никому, кроме вас, даже сказать об этом не могу, умоляю, помогите, только ни слова маме.

— Что же случилось, Верочка?

История была несложной. Вера увлеклась одним молодым человеком. Познакомилась с ним на танцах. Он провожал её, поцелуй в парадном, от которого долго кружилась голова. Встреча за встречей, поездки вдвоем за город. Она была так счастлива. А потом вдруг оказалось, что он женат, у него есть ребенок, и он ни за что не желает, чтобы Вера рожала ему второго ребенка. Что делать? Легко со стороны говорить — “Не беда, рожай, и без него воспитаем”. А попробуй воспитать на стипендию да зарплату матери-швеи из ателье. Отец погиб на фронте и так еле-еле концы сводили с концами.

— Да, но этот подлец ведь должен помогать, — вспомнила Раиса Григорьевна. — Если сделал ребенка, то хоть плати. Элементарная справедливость.

— Раиса Григорьевна, он не будет платить ни копейки.

— Заставим.

— Он сказал мне, что по закону не полагается.

— Не полагается?! Да, в самом деле. Внебрачный ребенок. Вера будет считаться матерью-одиночкой и получать небольшое пособие, которое мало чем ей поможет. Нехорошо.

И Раиса Григорьевна с удивлением подумала о законе — несправедливый. Быть может, он и нужен был во время войны, когда столько людей погибло, но все-таки несправедливый. Почему он всю тяжесть сваливает на мать?! Плата за легкомыслие? Но разве за легкомыслие не должен отвечать и мужчина? Где же здесь равноправие? И почему должны причиняться страдания совсем невинному существу, ребенку? Мало того, что отец не воспитывает его, не дает никаких средств

на его содержание, но ребенок даже не вправе назвать его своим отцом. Опять две категории детей: с отцами и без отцов. По совести говоря, такой закон поощряет нечестность. Эти мысли привели Раису Григорьевну в смятение. Как же быть! Ведь, пожалуй, и впрямь Верочке нельзя рожать.

— Так что же ты хочешь? — спросила она.

— Помогите сделать аборт.

— А может быть, все-таки рожать. Поможем, все поможем тебе. Пусть сбежал от тебя этот негодяй, пусть даже закон отворачивается от тебя, но люди, Верочка, тебя не осудят, помогут.

— Не знаю и знать не хочу. И что будет с мамой?! Нет, ни в коем случае. Умоляю вас, Раиса Григорьевна, родная, помогите, я все равно что-нибудь с собой сделаю.

Пришлось согласиться, Раиса Григорьевна пошла в комиссию при женской консультации хлопотать о разрешении на аборт. В комиссии отказали, девушка здорова, оснований нет. Без разрешения комиссии аборта нигде не делали. Пришлось искать врача, который бы согласился на подпольный аборт. После долгих поисков, просьб и унижений Раиса Григорьевна, наконец, нашла врача. Он сделал аборт у нее в комнате. Все обошлось благополучно. Вера воскресла и теперь каждый раз, встречаясь с Раисой Григорьевной, бросалась целовать её: “Спасительница моя, родная”.

Прошло два года, и Раиса Григорьевна уже стала забывать об этом случае, как вдруг застала у себя повестку с вызовом в милицию.

В чем дело? По какому поводу? — спрашивала она себя, но сколько ни рылась в памяти, так и не нашла ничего такого что могло бы повлечь за собой этот вызов.

Она долго ждала в коридоре. Наконец, её вызвал к себе молоденький лейтенант и прямо с места в карьер, чтобы не дать опомниться, спросил:

— Вам делали аборт?

— Вы с ума сошли. Разве не видит, е сколько мне лет?!

Только сейчас лейтенант внимательно посмотрел на нее и весь зарделся.

— Да-м, — неопределенно промычал он.

Видимо, стало стыдно за свой вопрос, и он уже думал отпустить Раису Григорьевну, как вдруг вспомнил.

— А вы знаете врача Перецкого?

Стоило бы Раисе Григорьевне ответить “не знаю”, как ее сразу же отпустили бы, но она только сейчас вспомнила и

Перецкого, и всю историю с Верой, и поняла, наконец, почему её вызывали. Она растерялась, тоже покраснела и еле слышно промямлила:

— Да, знаю.

Лейтенант обрадовался.

— Вот-вот. И что же, кому он делал аборт? Учтите, он нами арестован, и мы все-всё знаем.

В его словах только половина была правдой. Перецкого, действительно, арестовали вчера. И теперь, уже после разрешения абортов, он продолжал свою подпольную практику. Последняя операция кончилась неудачно, заражением крови и смертью молодой девушки, которая, попав в больницу, назвала его фамилию. В записной книжке Перецкого значился адрес Раисы Григорьевны без указания фамилии и имени отчества. Случайно её вызвали в милицию первой из числа жильцов квартиры.

Промелькнула мысль: умолчать, не рассказывать всего, уберечь Веру, но это же нечестно.

— Да, делал одной студентке, у меня в комнате. Она ни в чем не виновата, все я, я нашла этого Перецкого, я помогла...

Ее арестовали в тот же день. Собственно говоря, можно было и не арестовывать, ограничиться подпиской о невыезде, но лейтенанту показалось, что он схватил жар-птицу за хвост, нашел главного сообщника, поставщика клиентов и убедил свое начальство и прокурора в необходимости ареста.

Вскоре выяснилось, что Раиса Григорьевна ни о чем больше, кроме случая с Верой, не знает, но ее соучастие в преступлении налицо, само преступление тяжкое, совершено уже после амнистии, поэтому оснований освободить из-под стражи нет.

Она уверяла следователя.

— Какая же я соучастница врача. Если правильно рассуждать, так я Верина соучастница. Ведь я хотела помочь ей, а не ему.

— Вы поставляли, клиентов абортмахеру, — холодно возразил следователь, — значит, вы его соучастник.

— Но ведь я умоляла его ради этой девушки, из жалости к ней.

— Мотивы доложите суду, а моя обязанность лишь устанавливать факты. Соучастник по закону отвечает наравне с исполнителем преступления.

— И что мне грозит?

— Статья предусматривает лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

Раиса Григорьевна широко раскрыла глаза от удивления, и оно было таким искренним и непосредственным, что следователь сразу же добавил:

— Ну, суд учтет все, о чем вы говорите, в том числе и ваше признание. В отношении вас речь может идти, конечно, лишь о минимуме.

— Значит, три года. За помощь девушке? Не может быть.

— Это, по-вашему, называется помощь, а на языке закона это опасное преступление.

— И суд будет так рассуждать?

— Наверное.

— Ну знаете, в таком случае это несправедливый закон.

— Закон не обсуждают, его выполняют, вам понятно, обвиняемая?

Ей понятно, все понятно. Глупости, ничего не понятно. Конечно, за подпольный аборт надо наказывать. Особенно, если его делают за деньги. Но она ведь поступила бескорыстно, хотела только помочь бедной девушке. Хорошо, пусть это называют соучастием, и она заслуживает какого-то наказания. Но разве за это можно держать в тюрьме 57-летнюю женщину?! И дело здесь, скорее всего, не в законе, его надо уметь правильно применять, а в его исполнителях, в этом молодом следователе, сухаре. Почему такая несправедливость?! Почему?!

Никогда не забыть ей первой долгой тюремной ночи. Она не заснула ни на секунду. Мысли, видения прошлого сменялись и путались.

В первые дни случившееся казалось Раисе Григорьевне катастрофой, чем-то похожим на землетрясение или смерч. Вскоре же, хотя она и не свыклась с положением арестованной, но почувствовала себя здесь такой же нужной людям, как и прежде, там, за стенами тюрьмы. И это чувство давало силы жить и ждать.

Несмотря на слова следователя, она спокойно ожидала решения своей судьбы и глубоко верила в то, что суд освободит её, ибо что бы ни писалось в законах, нельзя отправлять человека в тюрьму только за то, что он, пускай неправильно, но всё же помогал людям или хотел им помочь.

Раиса Григорьевна в тюрьме нисколько не изменилась. Здесь она сразу же стала центром и не только центром, но и цементом того крошечного и случайного коллектива, каким оказалась камера. Если бы не она, Аня не оправилась бы так скоро от потрясения, вызванного заключением, не окрепла бы внутренне для предстоящей борьбы.

И Галина не чаяла души в Раисе Григорьевне. Борьба со следствием ей было ни к чему, преступление совершено, она во всем созналась. Правда, она предполагала, растрата небольшая, тысяч на шесть-семь, а бухгалтера насчитали почти 18 тысяч рублей.

Непонятно, как это получилось. Сперва брала из кассы на чулки, на новую сумочку, такие интересные появились в магазине “Новинок”, потом брала до зарплаты, все надеялась погасить, даже счет вела своим долгам, а потом запуталась, долг рос, хотелось и шелку на платье, и панбархат, подделывала документы, одна ревизия прошла, вторая всё раскрыла.

Теперь следствие затягивалось из-за бухгалтерской экспертизы, возможно, размер недостачи снизится, по словам следователя, тысяч до 13-14. Но это не трогало её, все равно статья та же, а по ней за хищение минимум десять лет. Галина высчитывала, если даже с зачетами ей придется просидеть не 10, а шесть или пять лет, то всё равно, когда она выйдет, ей будет уже 46, и Михаил столько лет не будет жить монахом, заведет себе кого-нибудь да и женится, наверное, на другой. И эта мысль больше всего не давала покоя. Конечно, она виновата. И никому нет дела до её семьи. Это только в старинных романах возлюбленные ждали столько времени. И то, наверное, не ждали. Басни всё это.

— Ну, объясните, Раиса Григорьевна, зачем придуманы такие большие сроки?

— Чтобы люди боялись делать преступление.

— Чепуха, человек всегда думает: “Авось обойдется”. А ведь и два или три года в тюрьме не маленький срок.

— Конечно, не маленький. Но все-таки 10 лет звучит страшно, а практически с зачетами это ведь меньше.

— Меньше? А мне нелегко и пять лет просидеть. Да, по правде сказать, мне и месяца здесь достаточно, чтобы на эти проклятущие казенные деньги и не посмотреть никогда.

— Ну чего нюни развесила, дура! Теперь поздно, надо было раньше не признаваться, — Валька свесила ноги с нар и болтала ими, — пусть кол на голове твоей дурьей чешут, а ты все равно свое “нет и нет”. А то здрастье, пожалуйста, мы честные, правдивые. Это только для дураков честность. Поверила их песенке “Чистосердечное признание смягчит наказание”. Верь им больше. Болтовня, муть сплошная. Только признайся, а они с радостью полную катушку тебе размотают. Что тебе не меньше десяти лет дадут, это я точно говорю, как в аптеке.

— Хватит, Валька, болтать, — Раиса Григорьевна встала, но так как ходить по камере было невозможно, а топтаться на месте смешно, она снова села на место, — нечего врать, Галина умница. Горькая правда всегда лучше сладкой лжи. Не где-нибудь живем, а у себя, в советском государстве. И если ты раскаялась по-настоящему, второй раз здесь не окажешься. И можешь быть, уверена, суд поймет Галину, ей дадут срок, пусть там и написано в законе 10 лет, но ей по справедливости дадут в три, в четыре, раза меньше. А если б она крутила, как ты предлагаешь, значит, ничего не поняла. И пусть тогда сидит все 10 лет, думает, понимает. Да, да, запомни, Валька, понять — это значит наполовину простить.

— Бросьте сказки для маленьких рассказывать. Это все на словах, а в жизни иначе, люди признавались, уж я знаю, и со мною такое было, а давали такие сроки, что будьте здоровы. И писали во всякие верховные — преверховные суды, а всё равно, что до стенки.

— Так разве в твою искренность могли поверить, если ты из тюрьмы не вылазишь?

— А вот ежели б поверили разок, может, я бы и на другую жизнь перешла.

— Так это ведь бабушка надвое гадала, может быть, да, а может быть, и нет, — ответила Раиса Григорьевна и сразу же пожалела о своих словах.

А вдруг Валька права, и, если бы ей в свое время поверили, а не засудили б сурово, возможно, и не было бы сейчас на свете вот этой Вальки грубой и озлобленной, а вместо нее жила бы на земле совсем другая женщина — добрая, честная, трудолюбивая.

— А ну вас к лешему всех!

И Валька запела:

*Эх, сижу я одинокая,  
На дворе совсем темно,  
А тоска моя глыбокая,  
Мучит сердце все равно...*

— Прекратить пение, — щелкнул замок, открылась дверь.  
— Опять Шейкина, видно, карцер по тебе плачет.

— Это не она, это я пела, — вмешалась Раиса Григорьевна, выступив вперед.

Надзирательница посмотрела на нее с удивлением.

— Брось врать, зачем покрываешь? А то гляди, не пожалею.

Дверь захлопнулась.

## Глава 6

### Следствие

Трудно добираться зимой в районный центр. Пароходы не идут. От железнодорожной станции попутной машиной километров тридцать. Андрей Петрович добрался в райцентр только к вечеру. Устал, промерз, с трудом нашел дом колхозника, получил койку. Теперь бы, наконец, лечь и отдохнуть. Но ведь впервые в этом городке. Надо хоть взглянуть, что он из себя представляет.

И Андрей Петрович, бросив под кровать чемоданчик, вышел сразу же на улицу. Тусклый свет одинокого фонаря освещал её, нигде ни души, все забились в свои домишки. Тишина. Пусто. Кончился день, и люди, утомленные от работы, дневных забот и волнений, стремятся к короткому одиночеству перед сном. Наверное, всегда так: долгое непрерывное пребывание на людях делает желанным одиночество, а одиночество быстро надоедает и хочется видеть людей. Трудно человеку жить без перемен.

Быть может, поэтому он и приехал сюда, длительное пребывание в городе наскучило, захотелось развеяться хоть ненадолго, побыть ближе к природе. Ведь жива в человеке — и пусть никогда не иссякает она! — впитавшаяся еще, наверно, с кочевничьих времен, в нашу кровь тяга к перемене мест. Профессия врача привязывала к сугубо оседлому образу жизни. И все же он любил при первой возможности сорваться куда-нибудь и поехать. Новые места, новые встречи, леса, горы, дома. Кто-то из французов, жаль, что никак не вспомнить, кто именно, хорошо сказал:

*“Человек рожден всё видеть и знать, и привязывать его к одному только месту на земле большая несправедливость”.*

“Все видеть и знать!” — что может быть лучше и вдохновенней этого девиза? И, хотя мороз гнал его вперед по пустынной улице, он шел медленно, спокойно, впитывая в себя с наслаждением и этот кристальный воздух, и поблескивающую под лунным светом целину свежеевыпавшего снега, и разлетающуюся стаю деревянных домиков. Думалось легко и просто. Мысли приносили с собой ощущение бодрой силы, радости жизни, которая казалась теперь бесконечной, светлой, как этот снег, дорогой, смело идущей вперед по красивой земле.

Завтра он увидит Аню. И надо все-таки быть честным с самим собой. Приехал он сюда вовсе не из-за какой-то тяги к перемене места, а просто потому, что больше уже не мог не видеть её. Он нарочно не писал ей последние две недели. Ведь

интересней приехать внезапно. Как она изумится, когда завтра во время приема в больнице вдруг раздастся его голос.

— Доктор, к вам можно?

И вместо очередного больного с ишиасом или нарывом на пальце войдет он — краснощекий с мороза, с лицом веселым, немножко растерянным и поэтому, наверное, смешным. Обрадуется ли? Только бы обрадовалась!

Михновский замучился с этим делом. Теперь уже не думал о том, чтобы нажить на нем капитал, больше не рисовалась в воображении громовая обвинительная речь, не слышались аплодисменты и восторженные крики. Как говорится, не до жиру, быть бы живу. Пришлось самому вести следствие, так как первое время следователь прокуратуры находился в дальнем селе, где расследовал дело об убийстве в пьяной драке, а вернувшись, заболел.

Михновский уже жалел, что он так поспешно арестовал Аню. Этот арест был бы оправдан, если бы сумел доказать, что Аня требовала деньги от Пивоварова, вымогала взятку. Если же это обвинение отпадет и останется только один факт халатности, его смогут упрекнуть в аресте молодого врача, скажут:

— ...зачем вы арестовали её?.. можно было ограничиться подпиской о невыезде.

Правда, для предъявления обвинения во взяточничестве и сейчас имелись некоторые основания. Пивоваров на допросе подтвердил, что Бужина просила у него деньги на лечение, но Михновский чувствовал тем шестым чувством, которое со временем вырабатывается почти у каждого следователя, что, если допросить Пивоварова посерьезней и пообстоятельней, и если он не будет бояться ответственности за ложные показания, то, пожалуй, откажется от этого заявления.

Чем дальше вел Михновский следствие по делу, тем яснее видел неосновательность обвинения в вымогательстве взятки, но он не хотел сознаваться в этом, заставлял себя верить обвинению, искал хоть какие-нибудь доказательства Аниной вины. Но все, кого он ни вызывал и ни допрашивал, отзывались об Ане хорошо. Когда Михновский узнал, что в больнице после долгого лечения умер сторож речной пристани Матвей Иванович, он вызвал на допрос его жену в надежде увидеть хоть одного человека, недовольного врачом, и вынудить у нее нужные показания.

— Садитесь, пожалуйста, Аграфена Васильевна. Я хотел бы с вами поговорить о том, как лечили вашего покойного мужа.

— Известно как, чего спрашивать.



Старуха недоверчиво, с опаской смотрела на него. Она была растеряна и испугана.

— Значит, залечили, старика вашего?

— Почему это залечили? – возмутилась старуха. – Срок пришел ему, вот и помер.

— Но все же, если б докторша хорошо лечила, старик ваш и сейчас еще жил бы да поживал. Крепкий, говорят, был.

— Крепкий-то, может, и крепкий. А на докторшу клепать не буду. Сердешная, обстоятельная. Не буду — и не спрашивайте.

— Вот вы сказали сердечная, а ведь девочку Пивоварову она до смерти довела.

— Не знаю этого. Всякое говорят, не знаю, в докторском деле неученая, чего меня про такие дела спрашивать.

— А что же говорят?

— Ничего.

— А вот вы сказали: всякое говорят.

— Не знаю, не знаю.

— А не говорят ли, что докторша с больных деньги за лечение спрашивала? — в упор спросил Михновский со всей строгостью, на которую был только способен, посмотрел на старуху.

— Что ты, батюшка, перекрестись, милой. Никогда не слыхивала. Другое говорят о ней.

— Чего замолчали, Аграфена Васильевна? Что же говорят? Что?

— А вот что. Будто докторша наша всех, кто ей за добро отблагодарить хочет, домой отсылает. Вот и я, грешным делом, когда она старика моего лечила, курочку ей принесла. Думала: чего ж, бедняжка, в столовке кушает, пусть бульон из курочки попробует. Так что думаешь, милый? Не взяла, да отчитала. Бессеребренница, вот что говорят про нее.

— Вы свободны.

— А с Пивоваровой дочкой, может, она чего и не доглядела. Но только по молодости. В поселке ждут ее. Вот, говорят, разберутся в ейном деле, и вернется она. Так ты уж постарайся.

— Идите, идите, бабушка.

— Постарайся, не забудь, товарищ начальник.

— Хорошо, хорошо.

Если б только одна старуха просила за эту Бужину, можно было б не прислушиваться. Хуже другое. За нее все хлопочут с самого дня ареста.

Как только на следующий день он вошел в свой кабинет, утреннюю тишину взорвал телефонный звонок.

— Кто это говорит? Алло, вас не слышно. Из леспромхоза? Да, это я. В чем дело?

— Вы арестовали нашего доктора. Это безобразие.

— Выбирайте выражения. Я не обязан отчитываться перед всеми.

Он повесил со злостью трубку, черт знает что! Все вмешиваются.

На следующий день прибыла целая депутация: секретарь парткома леспромхоза Весняк, техник Леша и зубной врач из райбольницы. Они сказали, что очень удивлены арестом Бужиной, она ни в чем не виновата. Если её обвиняют в смерти Кати Пивоваровой, это совершенно несправедливо. Они знают Аню лучше прокурора и могут за нее ручаться так же, как за самих себя,

— Боюсь, вы слишком преувеличиваете, — заметил Михновский.

— Это почему же? — спросил Весняк, — если мы знаем человека, видели, как он работает, то можем и ручаться за него. Бужина честный человек и добросовестный врач. Такой знает её весь поселок.

— Вполне возможно, но это не освобождает её от ответственности за совершенное преступление, — Михновский старался казаться, как можно вежливее. — По имеющимся у нас данным, которые я по долгу службы не вправе разглашать, Бужина совершила серьезное преступление. Поэтому, к сожалению, ничем помочь вам не смогу.

— Хоть я и мало разбираюсь в медицине и в вашей юриспруденции, — Весняк, чтобы побороть своего вечного врага — несдержанность, старался произносить слова медленно, как бы выцеживая их, но через мгновение, забыв об этом, заговорил горячо и быстро, — но мы все разбираемся немного в людях. Это ваше дело — вести следствие. Суд, в конце концов, разберется, кто прав, кто виноват. Но зачем девушку сажать в тюрьму? Не убийца же она, не вор. Даже если она по неопытности допустила ошибку, разве за это в тюрьму отправлять надо? Освободите её на время следствия. Мы, наш леспромхозовский рабочий коллектив, ручаемся за неё.

— Не могу вам помочь, закон не разрешает.

— Я что-то не понимаю. Разве вы не должны считаться с мнением общественности, коллектива?

— Мы и не собираемся пренебрегать вашим мнением, но освободить Бужину сейчас не можем. Своей вины она не осознала, преступление совершила тяжкое. По её, я подчеркиваю, именно по её вине погиб ребенок. Но мы учтем всё, что вы говорили. До свидания.

Михновский еле выпроводил их за дверь. Коллектив ручается, доверие... новые идеи. Ни к чему они. Доверяют тем, кто не совершил преступление. А раз нарушил закон, значит, и доверие потерял. Окажи нарушителю доверие, дай поблажку, и люди быстро распустиятся. Страх был, есть и всегда останется лучшим лекарством от преступления, лучшей охраной закона. Чем суровее наказание, тем успешнее борьба с преступностью.

Но все-таки надо быть поосторожней. Вдруг и в самом деле поступят сверху указания о доверии, о передаче на перевоспитание.

В тот же день вечером новый визит. Михновский приказал секретарше никого не пропускать в кабинет. Но отказать в приеме Якову Марковичу, наиболее уважаемому врачу в районе, который недавно лечил его самого, было невозможно.

— Присаживайтесь, Яков Маркович, не ожидал увидеть вас здесь. Чем могу быть полезен?

— Вы арестовали врача Бужину?

Улыбка слетела с лица Михновского.

— Да.

— Из-за смерти девочки Пивоваровой?

— Не только из-за этого.

— А из-за чего еще? Она не могла поступить дурно.

— К сожалению, я не вправе разглашать материалы следствия.

— Ну, хорошо, я же ничего не требую, — Яков Маркович с грустью посмотрел на Михновского, потом вдруг положил свои большие красные руки с растопыренными пальцами на письменный стол, — Вы видите эти руки? А знаете ли, сколько ими сделано операций за тридцать лет? Так я вам скажу, молодой человек. Во много раз больше, чем вы провели ваших дел. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, я старый человек и привык говорить прямо. — Его голос повысился, массивные роговые очки задрожали на носу, — Бужина добросовестный и способный врач. Конечно, можно было лечить эту девочку осторожней, молодость всегда неосторожна. Но в смерти ребенка она не виновата, это я вам говорю, не виновата, и вы обязаны скорей разобраться и освободить её... Вот и все.

Яков Маркович встал, с трудом подняв со стула свое грузное усталое тело, и вышел из кабинета.

Михновский машинально взял газету со стола, развернул, прочел заголовки и снова сложил. Надо было бы допросить старика в качестве свидетеля. Но не стоит. Он только помешает обвинению. Придет в суд, наговорит всякой ерунды, произведет ненужное впечатление. Интересно, почему он так защищает Бужину?

А через день вдруг звонок секретаря райкома партии. Этого Михновский боялся больше всего. К счастью, обошлось, кое-как отговорился. Имеются серьезные материалы. Поступили из обкома. Экспертиза установила тягчайшую халатность. Девочка, по существу, отравлена врачом. Обещал объективно разобраться во всем.

А в довершение к звонкам, просьбам, трудным допросам Бужиной вдруг явился врач из Ленинграда и стал требовать объяснения ее ареста.

— А кто вы такой? Какое вы имеете к ней отношение?

— Друг её, товарищ.

Михновский посмотрел на него удивленно.

— Вы что, специально из Ленинграда приехали?

— Это не имеет значения. Я хочу знать, в чем дело?

— Я вам объяснения давать не должен и не буду. Я не могу разговаривать со всеми так называемыми друзьями обвиняемых.

— Что значит со всеми и так называемыми?! — Андрей Петрович побагровел. С ним никогда такого не случалось, он закричал. — Если к вам приходит друг человека, неизвестно почему попавшего в беду, вы обязаны сказать ему, в чем дело.

— Не обязан. — Михновский тоже разозлился, что за кутерьма с этим делом?! Все пристают. Ну их к чертям. Надоело. — Не обязан.

— А если бы такое случилось с вашим другом, разве вы не поступили бы также?

— Это вас не касается.

— Не касается?! Да у вас и друзей, наверное, никогда не было и не будет, вы не знаете, что такое дружба.

— Знаем мы эту дружбу вашу, — ухмыльнулся Михновский.

— Что?! Да как вы смеете!

— Оставьте, гражданин, кабинет.

— Оставьте, не волнуйтесь, как бы вам не пришлось оставить его.

Дверь хлопнула, Михновский встал и зашагал по кабинету.

“Зря я так распалился”. Он любил хвалить себя мысленно, был уверен в собственной непогрешимости, считал себя человеком незаурядным, выше всех окружающих. Теперь же вдруг выругал себя — болван, форменный болтан, этот тип нажалуется повсюду, и опять объясняйся, выкручивайся.

Что же делать теперь? Как поступить? Обвинение во взяточничестве отпадет. Но от него не поздно отказаться в суде. А халатность доказана. Что бы ни твердила Бужина, она виновата, правда, если быть честным с самим собой, она сумела внушить ему сомнение в правильности основного тезиса экспертизы — отравления девочки сантонином. И он теперь на допросах заставлял себя не слушать Анины пылкие речи для того, чтобы не поддаться ее доводам. Он, наверное, так и смог бы пропуститься их мимо ушей, если б не все эти депутатии, ходатайства, письма, звонки из райкома партии, ничего не сделаешь — придется теперь соглашаться с Аней и назначать новую экспертизу.

Но, кажется, он нашел выход из создавшегося положения, экспертизу придется проводить в Ленинграде, туда он переведет и Бужину, подальше от поселка, от района. Экспертиза продлится, как водится, долго, за это время от него отстанут, эксперты, в конце концов, подтвердят факт халатности и все обойдется. А под предлогом трудности вызова экспертов суд надо будет провести выездной сессией в Ленинграде, тихо, спокойно, без всех многочисленных болеющих за нее и сочувствующих, вдали от поселка, от райкома.

Вся жизнь Андрея Петровича прошла в городе. Бывал в селе лишь в годы войны, когда с полевым госпиталем шел вперед, в большинстве своем деревни были сожжены. Так и сохранились они в его памяти — редкие уцелевшие избы и торчащие колы печных труб посреди пепелища, не деревни, а кладбища деревень.

В Анином же поселке дома радовали глаз: многие светились веселой голубой краской, некоторые сверкали бледной желтизной, бревна и доски выглядели свежевыструганными, еще не успели почернеть.

Андрей Петрович прямо с автобуса направился в больницу. Новый вид поселка: беспредельная синь неба над белой, как подвенечное платье, равниной земли, стройные богатыри-ели и сосны на улицах, ласкающие лицо первым теплом лучи солнца, — в другое время всё это рождало бы в душе радостную легкость. Сейчас же, хотя он и обнимал своим взглядом окружающую красоту, она, напротив, как бы подчеркивала всю тяжесть

случившегося. Ни к чему вся эта красота?! Что теперь делать? Зачем он снова приехал сюда? Ведь Аня в райцентре, там расследуется дело. И все-таки он не мог не вернуться в поселок.

Вчера утром он был ошеломлен, узнав в больнице от первой попавшейся навстречу санитарки об аресте Ани и мгновенно же уехал в райцентр. Арест казался недоразумением, которое надо немедленно рассеять. Тогда он никого здесь не видел, ни с кем не говорил, не зашел даже к Ане домой. Сейчас же он чувствовал внутреннюю потребность побывать там, где жила Аня, пройти по тем же улицам и тропинкам, по которым ходила она, зайти в палаты, где она лечила больных, посидеть в её комнате, на ее стуле, у её стола, на котором каждая вещь хранит, наверное, еще следы прикосновения её таких нежных, с длинными тонкими пальцами рук. Он шел быстро знакомой дорогой. Сейчас он все разузнает, в больнице его успокоят, скажут, что уверены в Аниной невиновности, что арестована она по чьему-то злому навету молодым прокурором, которого вот-вот снимут, а Аню освободят.

Он вошел в больничный коридор, тщательно обмёл веником снег с валенок, и, зайдя в приемный покой, увидел на одной из дверей табличку с надписью “Главный врач”. Анин кабинет. Теперь уже кто-то новый там, — подумал он и толкнул дверь.

— Разрешите.

— Да.

В кабинете сидел Сопелкин. Увидев массивную фигуру Андрея Петровича, его полное лицо с насупленными бровями, нависшими над золотой оправой очков, Сопелкин вскочил и суетливо заговорил:

— Пожалуйста, заходите, усаживайтесь, вот сюда.

Он застыл в вопросительном ожидании.

— Я зашел к вам, — медленно начал Андрей Петрович, с трудом подыскивая слова, — чтобы расспросить или точнее узнать о вашей предшественнице Анне Васильевне Бужиной.

— А-а, вот что, — протянув Сопелкин, и сразу же повысил голос, — значит, интересуетесь Бужиной. А вы откуда, из Ленинграда?

— Да.

Надо было опросить еще, кто он такой и зачем приехал, но Сопелкин не решился. Сразу видно — лицо важное, серьезное. И, в конце концов, не все ли равно, из прокуратуры он или из облздрави, больше, вроде, неоткуда.

— Ну что можно сказать о Бужиной, — начал Сопелкин все еще раздумывая, как держать себя — поосторожнее или же сразу вылить на Аню побольше грязи. — Работала она здесь, конечно, немного. Знаний маловато, а вот воображения о себе многовато. Ну и загубила или, прямо сказать, отравила девочку, школьницу, да.

— Что значит отравила?! — взволнованно спросил Андрей Петрович.

Сопелкин замаялся. Странно, этот человек как будто бы ничего не знает. Но тогда он не из прокуратуры и не из облздрави. Откуда же? Пожалуй, лучше пока поосторожней.

— Следствие ведется сейчас, потому сказать определенно не могу.

— Но все же как это так: отравила девочку?

— Очень просто, лекарством отравила, сантонином.

— Не может быть.

— Почему вы так рассуждаете? Всё может быть. Факт, так сказать.

— Не понимаю. Неужели она допустила ошибку, выписав слишком большую дозу? Но куда смотрели медсестры? Ничего не понимаю.

— Я подробностей не знаю.

— Послушайте, доктор, — Андрей Петрович волновался и говорил быстро. — Вы же как врач должны понимать, что каждый может в работе допустить ошибку.

Сопелкин надулся. Приятно, конечно, когда такой солидный человек называет тебя доктором. Но к чему он клонит?

— Поймите, — продолжал Андрей Петрович, — ведь Бужина молодой врач, она только кончила институт. Надо все-таки помочь, похлопотать за нее, особенно коллективу больницы, в которой она работала.

Чего еще вздумал. “Не выйдет у вас, гражданин, ничего не выйдет”.

— Нет, нет, этого мы не можем. Ведется следствие, вмешиваться нельзя. Так сказать, наш врач в нашей больнице отравил ребенка. И потом я вам должен по правде заметить — конечно, ошибки дело такое возможное, но беда ведь в другом — у этой Бужиной вся система работы, так сказать, никудышная. Мало того, что отравила ребенка лекарством, но и помощи вовремя не оказала, ветер в голове гуляет. Что говорить: поделом ее посадили, поделом.

Андрей Петрович встал.

— До свидания.

— Всего хорошего.

Отравила ребенка сантонином! Чепуха, она не могла не знать применяемой в этих случаях дозы. Да и ведь сантонин в стандартной упаковке. Давая лекарство девочке, могла ошибиться сестра, а не врач. Но то, что она не оказала вовремя помощи ребенку, не боролась с отравлением просто страшно. Так не может поступить врач.

Хотя Андрей Петрович соприкасался с Аней по работе только тогда, когда она была студенткой, на практике, все же в нем жила твердая уверенность в том, что она врач по призванию.

Он привык делить своих коллег на врачей по призванию и по случаю. Первые могли ошибаться в работе, но они обладали не одними званиями и навыками, но и талантом врача, они могут ночами не спать у постели тяжелобольного, мысли о каком-нибудь сложном случае грызли их неотступно, повсюду — по пути домой, за обедом, во время отдыха. Вторых же он считал ремесленниками, они добровольно выполняют свои обязанности, но только в строго положенные часы. Выходя за двери больницы или поликлиники, они начисто забывали о своих больных, их мысли могли быть заняты чем угодно — предстоящим футбольным матчем, подсчетом потраченных и оставшихся до зарплаты денег, новым пальто, шьющимся в ателье, но только не странной, тяжелой болезнью, с которой пришлось столкнуться сегодня.

Андрей Петрович любил первых и презирал вторых.

То, что он услышал сейчас от Сопелкина, поразило его до глубины души. Если это правда (а какие основания не верить новому врачу больницы?), значит, Аня плохой врач, ремесленник, и он должен презирать ее так же, как презирал всегда ей подобных.

Он шел медленно, угрюмый, насуспенный, оступаясь с тропинки и то и дело попадая валенками в нетронутый снег. Он пытался разобраться в своих чувствах и мыслях. И это давалось нелегко. Аня преступница, Аня загубила ребенка, Аня врач волею случая. Он должен презирать ее за это. Но, странно, вместо презрения он чувствовал жалость.

Вдруг всплыло Анино лицо перед ее отъездом, в первые минуты свиданья на вокзале. Белокурая прядь волос выбилась из-под черной меховой шапочки, ее глаза улыбаются, смеются, зовут. Он мучительно хочет сказать, что любит ее, как много теперь она для него значит, но проклятая вокзальная суетола мешает. По радио звонкий женский голос объявляет: “До отхода поезда Ленинград-Петрозаводск осталось две минуты. Провожающие



освободите вагоны, пассажиры займите свои места”. Он хватается Аню за руку в длинных шерстяных перчатках, прижимает ее к себе и чувствует, как ее рука обжигает.

Пусть даже Аня виновата, но все равно он ее любит, да, любит. Он должен теперь разобраться в заварившейся кутерьме и помочь ей. Но что можно сделать сейчас, когда Аня уже арестована и ведется следствие?!

Андрей Петрович остановился. Куда я иду, не заблудился ли? Навстречу, прямо на него, по той же тропинке, шел полный мужчина. Андрей Петрович окликнул его.

— Простите, вы не скажете, где здесь Комсомольская улица?

— Свернете вон по той дороге направо.

Они с минуту замялись, и, бережно обходя друг друга, направились в разные стороны.

Если б, как в древних легендах, за всеми делами людскими следили всеведущие боги Олимпа, они бы крикнули Андрею Петровичу: “Остановись, вот человек, который тебе нужен”. Но все молчало, да хрустнула ветка, случайно попавшая под ноги. Нет, в мире богов есть люди, и у каждого своего характер. Не страдай Андрей Петрович скрытностью, нелюдимостью, застенчивостью, он, наверное, заговорил бы с этим прохожим и тогда узнал бы массу хороших сведений. Весняк — а это был он, — рассказал бы ему о том, как любили и любят в поселке Аню, как готовы вступить за нее, рассказал бы о своем посещении прокурора и райкома партии, и о том, что собирается снова идти туда.

Андрей Петрович, наконец, нашел Анин дом. Постучал. Никакого ответа. Он вошел в сени. Две двери. На одной сургучная печать, не Анина ли это комната? Он постучал в другую. Открыла старушка в вязаном платке.

— Вам кого?

— Здесь жила Анна Васильевна Бужина?

— Вон там, — старушка показала рукой на запечатанную комнату. — А вы заходите, мил человек, кем будете?

— Да нет, спасибо, — замялся Андрей Петрович, — я уж пойду.

Он медленно вышел из дома. Старушка вслед за ним приоткрыла дверь, хотела крикнуть: “Да вернитесь же, заходите, об Ане поговорим, о нашей голубушке”, — но вдруг налетевший ветер кинул в лицо ей хлопья снега, заполз под платок, стало зябко, старушка убоялась простуды и захлопнула дверь.

Андрей Петрович прямым, минуя дорогу по промерзшей снежной целине пошёл к автобусной остановке, и его большие ноги в валенках оставляли грубые следы на слегка закружившимся под ветром снегом, уже не казавшимся подвечным платьем земли.

Как бы философы не отрицали значения случайностей, вся наша жизнь полна ими. Потом уже, сквозь разъяняющую даль времени многие из них выглядят лишь подтверждением общих закономерностей, но ведь это нисколько не облегчало встречи с ними.

Пока, увы, все случайности были против Ани. Андрей Петрович, ничего не добившись, переругался с Михновским, в поселке встретился не с Весняком, не с медсестрами, не с Аниной соседкой, не с многочисленными жителями, знавшими Аню, а как раз с тем человеком, который ненавидел ее, с Сопелкиным.

Весняк же, хотя и ходил дважды к первому секретарю райкома партии и говорил с ним об Ане, но так получалось, что когда секретарь райкома звонил при нем к Михновскому, того не оказывалось на месте. Правда, секретарь после вторичного прихода Весняка вызвал Михновского к себе в райком, но тому и на этот раз удалось отговориться.

— Хорошие отзывы, мнение общественности мы, конечно, учтем, — старательно объяснял он, но ведь преступление совершено, девочка погибла. А Весняк и рабочие, от имени которых он говорит, не специалисты, они не компетентны в медицинских вопросах, тогда как высококвалифицированная экспертиза в лице областного судебно-медицинского эксперта устанавливает прямую и тяжкую вину Бужиной.

Против этого возражать было невозможно. И секретарь райкома лишь снова повторил:

— Смотрите, товарищ Михновский, объективность превыше всего, вы лично отвечаете за это дело.

Быть может, если б к секретарю райкома вместе с Весняком пошел Яков Маркович, всё дело разъяснилось бы значительно лучше. Михновского заставили бы дать прочитать заключение эксперта, а Яков Маркович сразу обнаружил бы ошибочность основных положений этого заключения. Но Весняк не догадался зайти к нему, а Яков Маркович, который, в свою очередь, собирался обратиться в райком, поговорить насчет Аниного дела, через день после визита к Михновскому внезапно свалился с тяжелым крупозным воспалением легких.

И всё же, хотя все эти случайности, казалось, роковым образом обрастали против Ани, в конце концов, они не играли и

не могли играть решающей роли. Теперь, после всех обращений и ходатайств, вызова в райком, Михновский уже не мог не назначить новой экспертизы, не мог не приобщить к делу письма, поступавшие из поселка, в которых хвалили Аню и просили скорей освободить её.

Теперь, конечно, Михновский мог бы освободить её из-под стражи. Если новая экспертиза подтвердит обвинение, она может дожидаться суда и на свободе, но он мог бы это сделать только в том случае, если был бы способен сам признать свою ошибку. Но тогда уже он перестал бы быть тем, кем он был на самом деле.

Ему говорят, что он лично отвечает за это дело. Что же, тем хуже для Бужиной. Как бы ни хлопотали за нее, он теперь непременно добьется ее осуждения, он докажет свою правоту.

Так дело Бужиной превращалось дня него в собственное дело.

## Глава 7

### Дневник Ани Бужиной

4/IV. Сегодня утром Раису Григорьевну повезли в суд. Я уверена, что ее освободят, и даже поспорила с Валькой. Если засудят нашу Раису и вернут в тюрьму, я отдаю Вальке любую из своих вещей, какую только потребует. Но если Раису Григорьевну освободят, Валька немедленно прекращает свою дурацкую болтовню,

Всего один день нет с нами Раисы Григорьевны, и так пусто стало в камере. Мы как-то сникли, молчим и, хотя не признаемся в этом друг другу, переживаем все время за нашу Раису и скучаем по ней.

Простая пожилая женщина, учительница вечерней школы, таких, наверное, тысячи. А вот поживешь бок о бок с таким человеком и невольно задумаешься: насколько бедней и грустней была бы ваша жизнь, не согревай ее вот такие люди.

Сколько книг написано о людях — героях, борцах, мыслителях, сколько сложено песен о них. И, в самом деле, как говорится, они двигают вперед человечество. Но мне думается, что такие обыкновенные незаметные, простые люди, как наша Раиса, люди такой исключительной доброты, постоянно живущие не для себя, а для других, честное слово, значат в жизни не меньше. Когда думаешь о них, как-то по-новому понимаешь огромное значение прекрасного слова “братство”.

Я пристроилась на нарах и полулежа пишу эти строки. Наверное, от нечего делать, всякие фантазии приходят в голову. Сейчас мне на секунду почудилось — вздорная, конечно, мысль,

но почему бы не пометчать, — что в один прекрасный день ко мне подходят и говорят:

— Слушай, Аня, вот микрофон. У тебя только одна минута времени. Что ты хочешь сказать? Учти, твое слово будет иметь власть над людьми.

Я бы схватила в руки микрофон, поднесла его к самому рту и сказала б громко, во весь голос.

— Слушайте, слушайте во всех концах земли, граждане, товарищи, дорогие мои люди, будьте внимательней друг к другу, отзывчивей, добрее, будьте друзьями, будьте братьями!

Уже давно отбой, выключен свет. Все спят или делают вид, что спят. В глазок никто не подсматривает. Я зажгла огарок свечи, его где-то достала и оставила нам Раиса Григорьевна, а её все нет и нет. Одно из двух: или же суд затянулся, перенесли заседание на завтра, а её на эту ночь поместили в дежурке, или же всё окончилось, она уже на свободе, у себя дома. Она мне обещала, что если ее освободят, то завтра же она пойдет к Андрею Петровичу.

Не зря говорится: люди познаются в беде. Другой давно бы отвернулся. Кто я ему? Никто. Что нас связывает? Несколько встречных писем? А он, забрасывает меня передачами. И как только удастся ему столько пересылать всего?! Последнее же время он совсем сошел с ума. Разузнал откуда-то, что мы по утрам работаем, и окно нашей мастерской выходит на улицу, и теперь появляется там чуть ли не каждый день, как только он показывается напротив наших окон, девчонки шепчут мне:

— Иди, иди, Аня, твой опять там вышагивает.

Они отвлекают чем-нибудь надзирательницу, а я подхожу к окну и машу ему рукой. Он улыбается и, глупенький, срывает на таком морозе с головы шапку. Не могу понять, как он умудряется так часто приезжать сюда, ведь у него же на руках большое отделение, больные.

Милый мой! Раньше я сомневалась, спрашивала себя, как он ко мне относится? Хотя я знала, что нравлюсь ему, все же думала: серьезно ли это? Предполагала, что это простое увлечение, пройдет, забудется, теперь же я больше не задаю себе никаких дурацких вопросов, никого и ни о чем не спрашиваю, я твердо знаю — он любит меня.

Написала эти слова, и стало вдруг так хорошо и радостно на душе и вместе с тем почему-то немножко боязно. Любит он меня, любит, и я его люблю, да, люблю, люблю и я не стесняюсь писать волшебное слово “люблю”, я готова писать его десятки, нет, сотни, тысячи раз. Родной мой, почему я так мало знала тебя

раньше, почему мы так мало встречались с тобой, почему еще тогда, в последний вечер, я не сказала тебе смело и коротко: “люблю!”

Я сейчас без конца вспоминаю этот наш вечер перед моим отъездом из Ленинграда. Прошло с тех пор уже столько времени, а мне представляется, что это было только что, час назад, я помню всё до мельчайших подробностей.

Мы встретились в саду у Адмиралтейства. Было не очень холодно, снег шёл крупный, косою, медленно ложился на землю, на раскидистые ветви деревьев. И они вдруг стали до того красивыми, что показались мне не теми настоящими, которые всегда стояли здесь, а какими-то новыми, пришедшими сюда, в этот знакомый сад, из прекрасной сказки. Мы шли в ногу, и, будто метроном, снег своим скрипом весело отсчитывал наши шаги. Андрей Петрович крепко держал меня под руку, но мне хотелось, чтобы он держал еще крепче. И ни о чем тогда не думалось, было просто хорошо.

Мы вышли к Медному Всаднику. Как всегда, он летел на своем коне куда-то вдаль, вперед, сквозь ночь — легкий, прямой, неудержимый. Вдруг из-за прозрачных облаков выскользнул круг луны, и она осветила белый от снега лавровый венок на голове Петра.

Черный всадник с алмазной короной. Десятки, пожалуй, даже сотни раз я бывала здесь, у памятника Петру, и всегда любовалась им, даже в те короткие минуты, когда, торопясь, пробегала мимо. Ведь это не просто памятник Петру, а памятник-символ. Но как-то раньше я не задумывалась над тем, в чем именно состоит этот символ. Сейчас же, когда я мысленно представила себе всю статую такой, какой видела ее зимой и летом, утром, днем и вечером, и, быть может, в особенности, в ту последнюю ночь, я поняла: это символ России, страны, всегда, несмотря ни на что, летящей вперед.

Но тогда, в ту ночь, я не думала об этом. Мы просто остановились у памятника. Андрей Петрович впервые осмелел и обнял меня. Снег, будто благословляя нас, садился на наши шапки, пальто, ресницы, а мы, словно зачарованные, смотрели на памятник.

— Как хорошо, Анечка, — наконец, сказал он. — Подумайте, что за красота, — слова вырывались медленно. — Вот смотришь, а на душе как-то светлеет, правда? Ты сам себе кажешься сильнее, лучше. Вот что, Анечка, с человеком искусство и красота делают.

“Боже мой, как это верно!” — подумала я и прошептала:  
— Да, да.

Мы такие разные, а думаем одинаково. Как это верно — настоящая красота возвышает. Но тогда я хотела услышать от него другие слова, какие-то большие, яркие слова о нас с ним, об его отношении ко мне, о том, что я нравлюсь ему, что он любит меня. Пусть бы говорил, говорил, а потом снял бы своими губами снег с моих ресниц, пусть взял бы мое лицо в свои большие руки и поцеловал бы прямо в открытые губы. Я никогда так не хотела ничьих поцелуев. Но он только отряхнул снег с моего пальто, с шапочки и медленно повел дальше.

Я прижалась к нему, было темно, ни одного прохожего, и я все еще надеялась, что он поцелует меня. Мы подошли к моему дому. До чего же он робок. Я видела, что он хочет сказать мне что-то, и я чувствовала, это должны были быть очень хорошие и ласковые слова, но он молчал, и у меня не хватило смелости подтолкнуть его. Мы долго стояли у ворот. Вдруг появился дворник, косо посмотрел на нас. Ну, хоть бы при нем поцеловал, пускай. Я не боялась теперь ничьих пересудов. Но мы почему-то инстинктивно зашли в парадную. Я всё ждала. А он стоял на нашей грязной холодной лестнице, гладил мои руки шептал:

— Анечка, я вам буду писать, Анечка, хорошо?

— Хорошо.

— Анечка, милая, родная.

Он выпустил мои руки. Кто-то спускался по лестнице. Я неуклюже чмокнула его в щеку и убежала.

Вот и вся наша история. Не было ни объяснений, ни поцелуев.

Вернувшись к себе в поселок, я с нетерпением ждала его писем. Но я все-таки не знала, люблю его или нет, увлечение все это или та настоящая любовь, которая приходит единожды в жизни. И вот сейчас здесь, в сотый, нет, в тысячный раз, думая о нем и видя украдкой, сквозь решетку, его большую, неуклюжую фигуру, я поняла, что это любовь, настоящая любовь. Так как нет теперь для меня жизни без него, и черт с ней, с тюрьмой, я и думать о ней не хочу потому, что я счастлива, честное слово, счастлива.

Пишу и чувствую, как краснею. Только бы не попались эти листки на глаза Вальке и даже Галине. Ведь любовь такое чувство, что его невозможно описать никакими словами. Прекрасное, нежное, великое — всё не то, всё мало. А у них в разговорах это выглядит чем-то грязным, противным, я иногда даже уши закрываю, чтобы не слышать их пошлых рассказов. А

может быть у них всё это лишь только рисовка? Не знаю. И знать не хочу. Но я теперь знаю другое, знаю твердо, определенно, и никто меня не переубедит — я люблю его, и я счастлива от того, что люблю. И, несмотря на всю мерзость тюремной жизни, у меня в сердце все время звенит музыка, звенит и поет, да, поет, я нисколько не преувеличиваю.

Сегодня я впервые сочинила стихи. Наверное, не бог весть как хороши, даже, скорее всего, плохи, и слова не такие яркие и свежие, как хотелось бы, и рифма какая-то очень уж обычная, но мне, честно говоря, они все-таки нравятся. Вот эти стихи:

*Ну, когда я увижусь с тобой,  
Наступи же скорей это время!  
Все равно я расстанусь с тюрьмой,  
Сброшу лжи и обмана бремя.*

*Верю я и всегда буду верить,  
Что узнаем с тобой мы счастье,  
Что нам радость откроет двери  
И любовь будет нашей властью.*

6/VI. Ура! Раису Григорьевку освободили. Не знаю точно, какой приговор, кажется, два года условно. Но главное — она дома. У нас праздник. Мы с Галиной целовались, как дети, прыгали от радости. Валька в первые минуты потерялась, а потом тоже рассмеялась.

— А здорово, девки! Ай да, Раиса, по правде сказать, не думала, что отпустят.

Галина получила обвинительное заключение. Сегодня к ней приходил адвокат. Как ни допытывалась у него, сколько получит, он, отвечал одно и то же: “Не знаю, но, боюсь, что все десять лет”. Галина очень расстроилась, весь вечер плакала, а я успокаивала её. Вот ведь и, в самом деле, совершила она преступление, растратила немало денег и не потому, что не хватало на жизнь, нет, а ради лишних тряпок. И все-таки жаль её. Пожалуй, если б она сама так не казнилась, не было б этой жалости. Конечно, Раиса Григорьевна была права: понять значит простить. Очень несправедливо приговаривать Галину к десяти годам.

Сегодня заходил прокурор в камеру, спрашивал, есть ли жалобы.

Я стала жаловаться на то, что почти уже месяц нахожусь здесь в ожидании экспертизы. И дело мое не движется.

Он выслушал спокойно, развел руками.

— Что ж это бывает, но я помочь вам не могу. К следствию отношения не имею, а являюсь прокурором по надзору за местами заключения и поэтому интересуюсь жалобами по содержанию в тюрьме.

— Вот я и жалею на то, что меня неправильно здесь держат.

— Вы содержитесь на законном основании, каковым является постановление о вашем аресте, — он говорил размеренно, но со скрытым раздражением, словно учитель, объясняя в который раз простую задачу непонятливому ученику, — я же интересуюсь не делом вашим, я не знаю его, оно разберется и, может быть, вас и освободят, а жалобами на тюремную администрацию.

— А я интересуюсь, почему так долго тянется экспертиза, и я должна сидеть здесь у вас.

Вдруг прокурор вместо того чтобы рассердиться или же продолжать свои скучные разъяснения, весело рассмеялся.

— Вот вы какая. Ну хорошо, я подробно выясню причины задержки следствия по вашему делу, — он записал все данные обо мне. — Ну а как же все-таки с жалобами на администрацию?

— Нет жалоб. Книг только мало дают.

— Почему? Полагаются две книги в неделю на камеру.

— Это-то мы получаем.

— А больше не полагается, ничего не поделаешь.

Я теперь досконально изучила тюремные порядки. Пока мы считаемся подследственными, у нас очень мало прав. Но как только человек осужден — и право переписки, и кино два раза в месяц, и телевизор в камеру на неделю, и работа с небольшим заработком, и зачеты, а теперь поговаривают, — будут созданы общественные советы при тюремном начальстве из числа заключенных.

10/IV. Четыре дня не писала ничего. Настроение ужасное. Вот уже скоро неделя, как пропал Андрей Петрович, мы ходим ежедневно на работу туда же, в мастерскую, в те же часы, но он не появляется. Последние дни прямо не живу.

Девочки в мастерской у окна установили негласный пост. Каждые пять минут я взглядом умоляю: “Посмотрите еще раз”, и всегда один и тот же ответ: “Нет, его нет”. Строю десятки предположений: заболел, уехал в командировку, не может вырваться из больницы, — но за всеми этими предположениями еще одно, самое страшное, в котором не хочется признать:



забыл, отказался. Возомнила — любовь, верность. Глупая девчонка. Ну, приходил сюда, посылал передачи. А причем здесь любовь! Просто порядочный человек, хотелось помочь девушке, попавшей в беду.

Не нахожу себе места, все думаю, думаю. Ведь он хотел приехать ко мне в поселок и приходил сюда каждый день. Это никак не могло быть обыкновенным знаком внимания. И его глаза. Я никогда не забуду, как он смотрел на меня тогда, в последний вечер, на лестнице и потом на вокзале, когда провожал меня. Такими бывают только глаза влюбленного. Но что было, то прошло. Увлечения проходят быстро. Столько женщин вокруг! Зачем же ждать какую-то арестантку, которая еще черт знает сколько времени просидит в тюрьме?

Он всегда с такой гордостью говорил о профессии врача, так радовался в письмах моим успехам. Каково же, представляю себе, ему было узнать, что я не врач, а невежда, отравительница, отправившая на тот свет ребенка. Чего ему только не наговорил Михновский? И мысль о том, что я так пала теперь в его глазах, совершенно убивает меня. Ведь преступниц не любят!

Неужели он так думает? Неужели разлюбил из-за этой проклятой истории? Согну раз задаю себе эти вопросы и не нахожу ответа. Ну, хватит. Я не должна без конца мучить себя этими мыслями. Попробую писать о другом.

Меня никто не вызывает, не спрашивает. У меня нет новостей, но у нас в камере очень интересные и важные новости.

Третьего дня вместо Раисы Григорьевны к нам прибыла новенькая. Ну и фрутик. Впрочем, попробую описать все подробно и по порядку.

Открываются двери. Влетает девица лет 26-27, элегантные туфельки, нейлоновые чулочки, шестимесячная завивка, большие наглые глаза, но чего-то явно не хватает в ее внешности, потом только догадываюсь — помады и краски на ресницах.

— Хэлло, девочки.

— Здравствуйте.

— Что я вижу? Молодая компания, очень приятно. Меня зовут Маргарита, Маргоша, Марго. Неплохо, правда, королева Марго? А вас как?

Потом она стала выпытывать: кто мы такие, за что сидим в тюрьме, получаем ли передачи. И хотя с первой же секунды мне не понравились ее развязные манеры, но что поделаешь, ведь здесь не приходится выбирать себе подруг, мы ей подробно рассказали о себе. Удивилась она только моей истории.

— Ну и дурёха же ты, — заговорила она, быстро смеясь, и даже снисходительно потрепала меня за кудри. — Кого-кого, а врачей я знаю хорошо, мой покойный папашенька сам был известным венерологом. Разве в докторе главное уметь лечить? Ничего подобного. Все врачи — сапожники, главное, деточка, обхождение, понимать надо.

Она упивалась своими словами, ей доставляло наслаждение показывать, как она умна, оригинальна. Теперь она села на своего конька, и ее понесло. В тюрьму она попадает уже в четвертый раз. Но это не очень огорчает ее. Приходится время от времени отдыхать от трудов праведных. Ничего не поделаешь, как говорится, — обратная сторона медали. Она кончила десятилетку и один курс института иностранных языков. Но еще в школе влекли к себе дела недозволенные знакомства, — как говорил покойный папаша, темные, — и после его смерти решила окончательно перейти к жизни, легкой и щекочущей нервы.

Поймали её на этот раз, как, впрочем, и в предыдущие, за мошенничество. Она развезжала по многим городам, то продавая разные подделки, как драгоценности, то получая деньги от доверчивых простаков на покупку шубы, на обмен квартиры, приобретение путевок, с успехом перевоплощаясь из жены директора мехового магазина в инспектора бюро по обмену или в дочь главврача Кисловодского курорта!

— Понимаете, девочки, главное в этом деле чистота работы, — разглагольствовала она, — ну а попадешься, невелика беда, статья 169-ая Уголовного кодекса, часть 1-ая, мошенничество, больше двух лет не полагается. Преступление неопасное, зачетики пойдут, и я через полгода на свободе.

— А вы, девки, дуры. Вот ты, Галина, украла у государства 15 тысяч и сразу же нюни распустила. Хапать, так хапать, надо было сто, двести тысяч содрать с них и бежать, новый паспорт и приветик, ищите ветра в поле. Или ты, Валька, стреляный воробей, а по мелочам промышляешь — карман да квартирная кража, сроки же большие.

— Заткни-ка лучше свою глотку.

— Ой-ой, какие мы грозные, так мы вас и испугались.

— Не трожь меня, отстань!

— Пожалуйста, на что ты мне сдалась. Все такие изнеженные стали, недотроги. Нет, девочки, если говорить, по совести, так скажу я вам: препаршивая у нас жизнь. Одна сука, зеленая-презеленая. Попробуй развернись. Вот раньше, я понимаю, были авантюристки, аферистки. Читали когда-нибудь про княжну Тараканову? Простая девка, неизвестно откуда

взялась, а претендентка на русский престол. Герцоги, короли ей руку целовали. Екатерина против нее целый флот со своим главным любовником Орловым послала. Ну, ладно, это все 18 век, всякий там феодализм, старина. Но уже перед самой революцией какие были женщины. Например, Сонька-золотая ручка. Бабенка высший сорт. Одета была всегда по самой последней моде, ее запросто за княгиню принимали. А какие дела обделывала. За нос самых дотошных ювелирщиков обводила. Один раз ей даже на дом колье в 50 тысяч рублей доставили. Она с ним в поезд и прощайте, голубчики, поминай как звали. Вот это были времена, вот это были люди.

— Да, люди, — повторяет за ней Галина.

Маргарита вдруг вскакивает.

— Что ты мычишь, как корова: да. А скажите: что делала бы сейчас вот такая Сонька или знаменитый Беня Крик, гроза Одессы? Или даже Остап Бендер? Попробуйте теперь открыть контору “Рога и копыта”. Сразу же РАЙФО, Госконтроль, ОБХСС.

“В самом деле, — думаю я, — аферисту теперь не так легко развернуться”.

— Это же какой-то кошмар, а не жизнь, — продолжает Маргарита все с большим жаром, — им, видите ли, надо, чтобы все трудились. Выдумали: “Кто не работает, тот не ест”. А я, например, не хочу работать. Мне скучно. Может быть, у меня способности к любви, а не к труду. И что я могу сделать, скажите, пожалуйста! Ведь у нас нельзя быть не только аферисткой, но и простой кокеткой, содержанкой. Подумайте, тысячелетиями существовали содержанки и вдруг исчезли. Никто не может тебя содержать, я уже не говорю о машине, даче, но просто давать деньги на еду, на тряпки, на побрякушки, на курорт, ни у кого нет капиталов, и у всех есть жены. Говорят, много денег у профессоров. Что вы думаете, я не пробовала? Но они или заняты, или в науке своей погрязли, или, видите ли, подавай им женщин с интересами, образованием. Не понимаю, зачем нужно университетское образование в постели?! Писатели? Но они тоже или заняты, или не подступиться к ним. Высшее начальство? Боже мой, раньше любовница министра — свой выезд, ложа в театре, каждый год — за границу, что угодно. А теперь, видите ли, они женаты, и потом они идейные, и за нарушение морали их могут выгнать из партии.

Слушаю её и думаю, — допотопное животное, ихтиозавр, откуда вот такое у этой молодой кобылицы?

— Что женщине остается делать? — с трагическим наигрышем восклицает она, — если женой ей быть скучно, я ненавижу даже слова эти — жена, дети, а всякими вашими ткачихами, поварихами, медсестрами, врачами, учителями и прочее, чтобы работать за их зарплату противно?! Что делать! В петлю лезть?! Ненавижу их, как я их ненавижу!

— Кого это? — наконец, вмешиваюсь я.

— А всю вашу Советскую власть, понятно, всю, всю!

— Ну ты, поосторожней на поворотах, — вдруг вмешалась Валька, — я хоть и карманница, и квартирница, как ты говоришь, а Советскую власть не трожь, гнида.

— Тоже мне защитница нашлась, адвокат. Всё я здесь ненавижу, всё. Жила бы, к примеру, сейчас в Америке, так будьте спокойны уже какой-нибудь миллионершей была бы или звездой. Там ведь так — сегодня аферистка, кокотка, а завтра — уважаемая мисс, попечительница, мать города и всякое такое. Хватит, больше я дурой не буду. Выйду отсюда, познакомлюсь с каким-нибудь иностранцем, теперь их много приезжает, — и вместе с ним, фьюить, прощай, как говорил поэт, проклятая Россия.

— Скатертью дорога, катись... — взорвалась Валька и выругалась. — Только там тебе и жить, паразитка. Да, я ворюга, но пусть отсохнет мой язык, если я что-нибудь против Советской власти скажу, это же все одно что мать родную поносить.

— А твоя родная матушка тебя в тюрьме держит.

— Молчи! Тебя не касается, виновата, так держит.

Тут уж я вмешалась в разговор. Слишком долго сдерживала себя, хотела, чтобы это мадамочка до конца высказалась.

— Знаете что, — сама не понимаю, почему я перешла с ней на “вы”, наверное, от злости, — я не привыкла оскорблять людей, но я попрошу, чтобы сегодня же вас убрали из нашей камеры, потому что противно дышать одним воздухом с вами.

— Да, да, убирайся, — вдруг осмелела Галина.

— Значит, жаловаться на меня вздумали? Хотите пришить еще статью. Тоже мне, идейные.

— Ничего мы пришивать не намерены, только убирайтесь отсюда.

—А я сейчас сама к начальству вызовусь, и первая скажу, что вы разговорчиками антисоветскими занимаетесь, мне и вера будет.

Что за подлая тварь! Противно связываться, поганит себя. В конце концов, мы договорились, что разойдемся мирно, она сама попросит перевода в другую камеру.

На следующий день, когда она уходила в другую камеру, никто не попрощался с ней. Было такое ощущение, что вместе с нею ушло от нас что-то нечистое, смрадное и даже сразу как-то легче стало дышать, будто проветрили помещение.

А мы трое вдруг почувствовали себя ближе друг к другу. Да, мы совсем, совсем разные люди, но мы все ведь с одного берега, а она с другого...

## Глава 8

### Дневник Ани Бужиной (продолжение)

14/IV. Вчера попрощались с Галиной. Её повезли в суд. Она плакала навзрыд. Я успокаивала её, уверяла, что все обойдется, сурового наказания ей не назначат. Но на этот раз оказалась права Валька. Галину все-таки осудили к 10 годам. Такое ощущение после этого приговора, словно меня саму обидели, побили. Не понимаю, почему Галина должна сидеть 10 лет, а до мозга костей испорченная, прожженная Маргоша отделается двумя годами. Что это, ошибка закона? Но закон не должен ошибаться.

Галину после суда к нам в камеру не вернули, её перевели в другой корпус, для осужденных. Сидим мы теперь втроем: Валька Шейнина, я и новенькая, моя ровесница, тихая, молчаливая, от нее и слова не добьешься, а обвиняется как будто бы в групповом ограблении. Зовут её Оля. О деле своем почти совсем не рассказывает, на вопросы большей частью отвечает: “Не помню”, мы с Валькой даже перестали её спрашивать, и так и не знаем: насколько она виновата, что привело её сюда. Книги она читает запоем. Окончит книгу, а потом сидит на нарах, уставя глаза в потолок. Начнешь разговаривать с ней уже не о деле её, а о прочитанной книге, все равно молчит. Оживилась она, только узнав, что я врач. Без конца стала спрашивать обо всяких медицинских случаях, болезнях, особенно о сердечных. Наверное, потому что три года назад ее отец умер от инфаркта, а в прошлом году тоже от инфаркта умерла мать. Мне почему-то кажется, что она могла бы стать врачом. Вот уже два дня, как я излагаю ей всё, что помню по анатомии. Слушает с интересом.

Больше месяца как я здесь. Никогда еще не было так горько и тошно. Андрей Петрович все не появляется. Теперь нет сомнения: отвернулся от меня, забыл, совсем забыл. Но я не хочу об этом думать. Правда, вчера я вновь получила передачу. Но ведь здесь не говорят от кого. Может быть, Раиса Григорьевна прислала или девочки из института узнали обо всем и вспомнили меня. Чертовски надоело ждать. Такая тоска, что порой кажется — лишь бы скорее конец, и пусть будет, что будет.

А я все снова и снова перебираю в памяти дни болезни Кати Пивоваровой. Что я сделала не так? Вспоминаю день за днем. Конечно, я была недостаточно внимательна к Кате. Все мои мысли были тогда заняты Гавриловым. Но ведь это не оправдание. А если у врача одновременно десяток тяжелобольных или, как на войне, чуть ли не полсотни раненых, разве он не обязан быть внимателен к каждому?! И почему так быстро, так легко я выписала ее из больницы? Надо быть честной — это было непростительным легкомыслием. Но ведь девочка чувствовала себя превосходно. В то время у Кати не наступило отравление или оно еще не давало о себя знать. И еще одна ошибка. На следующий день, когда отец привел ко мне Катю, следовало внимательнее осмотреть её. А что изменилось бы в этом случае? Наш районный педиатр Чулкова ведь хороший опытный врач. Она осматривала девочку после меня и тоже ничего серьезного не заметила. Глупо все как-то получилось, очень глупо. Сейчас научились бороться с тягчайшими заболеваниями, а девочка умирает от самой простейшей болезни, которой страдают почти все дети и от которой легко излечиваются. Почему вдруг такой страшный исход — смерть? Почему?

Я тысячи раз задаю себе этот вопрос и не могу на него ответить.

Ну если только я снова буду работать врачом, а так оно и будет, это безусловно, тогда все отдам — силы, молодость, на что еще она мне теперь..., — но непременно стану настоящим врачом и дойду всего в этих проклятых глистных заболеваниях. И вернусь в свою больницу, и во что бы то ни стало добьюсь, горло перегрызу начальству, а добьюсь, чтобы в ней были бы и рентген, и физиотерапия, и вообще всё то, без чего не может в наше время существовать больница, в которой умеют лечить серьезные болезни. И я добьюсь, чтобы к нам направили второго врача. И лекции снова начну читать. И мечта исполнится: моя больница будет образцовой.

А быть может, если бы все это имелось в больнице, с Катей не произошло бы несчастье?

Ищешь, Аня, оправдания. Но все-таки признайся — будь на твоём месте, например, Яков Маркович или какой-нибудь другой настоящий врач, не прозевали б девочку, а надо ведь не только называться врачом, а еще и талант врача иметь. Бесталаный врач все равно, что курица. Птица, а летать не может.

Ну, ладно, если это верно, если я на самом деле никудышный врачешка, значит, меня правильно, по заслугам посадили в тюрьму, значит, как раз здесь мне и место.

Чепуха какая-то. Я просто начинаю сходить с ума! Почему, если ты плохой врач, твое место в тюрьме. И неужели я так безнадежна?

Нет, опять я не о том думаю и пишу, о чем должна думать и писать. Теперь я поняла, что человек должен быть достоин того дара, который дан ему природой, великого дара сознательной жизни, что только тогда он будет счастлив, когда отрешится от своих узких интересов, поборет в себе все мелкие и низкие чувства и будет жить не для себя одного, а для других, для всех, для общего дела. Быть лучше, стремиться к самосовершенствованию — вот, может быть, и старомодное, но прекрасное и достойное человека слово.

Мне сейчас на душе легко и просто. Наверное, так бывает с каждым, кто сам дошел до истины, пусть не новой, но все-таки сам.

15/IV. Наконец-то. Сегодня меня вызвали:

— Бужина, на допрос.

Опять Михновский.

— Здравствуйте, Анна Васильевна, вы, наверное, заждались меня, он улыбнулся. — Вот я и пришел сказать вам об окончании следствия.

— А как же с экспертизой?

— Всё, всё готово. Вот заключение виднейших специалистов, один член-корреспондент Академии медицинских наук, два профессора, один доцент.

— Где же оно, дайте прочесть.

— Пожалуйста.

Я с жадностью схватила эти листы. Длинные описания, данные вскрытия, пересказ бричкинского акта, но где же выводы? *“Смерть девочки Кати Пивоваровой по единодушному мнению экспертизы произошла от отравления организма, вызванного аскаридозом”.*

Я вскрикнула от радости.

— Вот видите, я же права, не сантонином отравлена девочка, а самими глистами, аскаридами.

— Читайте дальше.

*“Причем указанное отравление наступило, по всей вероятности, еще до поступления девочки в поселковую больницу”.*

— Прекрасно, значит, я теперь не виновата, вы, наконец, поняли, что я не виновата в смерти девочки.

Михновский, видимо, ожидал этих слов. Он ни на минуту не изменился в лице, не запнулся, отвечал, будто вынимая заранее заготовленные фразы из кармана.

— Допущенная вами халатность, действительно, несколько менее опасна, чем это предполагалось нами вначале, но всё же она преступна, и вы должны отвечать за неё.

— Что?!

У меня потемнело в глазах от этой наглости. Основной тезис, на котором основывалось обвинение, опровергнут, наконец, восторжествовала правда, а все остается по-прежнему. Только что я чувствовала себя взнесенной на небо. Я ликовала. А теперь было такое ощущение, словно меня вдруг сбросили куда-то в лужу или в яму.

— А вы читайте что здесь дальше написано в ответ на последний вопрос. Вот здесь. *“Непринятие должных мер, — читал он, — к очищению желудка Кати Пивоваровой со стороны врача Бужиной следует рассматривать, как недочет в лечении девочки, отрицательно, — слышите, — отрицательно, сказавшийся на ее состоянии”*.

Я схватила лист бумаги и сама прочла эти строчки. Ничего страшного в них не увидела. Хорошо, согласна: недочет в лечении. Но разве за недочеты сажают, судят?

— Ну и что же? — спросила я.

— А то, что это называется на языке закона преступной халатностью.

— Неправда, не называется, вы всё говорите неверно.

— Вы затеваете бессмысленный спор. Все равно не переубедите меня. Можете теперь объяснять суду.

Я хотела говорить, доказывать, что он неправильно ссылается на закон, что недочет в лечении, который сам по себе не повлек никаких последствий, не может считаться преступной халатностью. Но я взглянула на его деревянное лицо и поняла, что и в самом деле спорить с ним бессмысленно.

— Я пришел объявить вам об окончании следствия, вот ваше дело, — он захлопнул увесистую папку с бумагами, — читаем.

— Я кивнула головой.

— Здесь ваши допросы, вы их знаете, — он поспешно листал бумаги, — это допрос Пивоварова, дальше акт экспертизы, вы все это тоже читали, вот протоколы допросов медсестер.

Он стал читать их. Сестры подробно рассказывали о том, как поступила в больницу Катя Пивоварова, когда и какие лекарства они давали ей.



Михновский торопился, он быстро перевернул еще несколько страниц.

— Тут опять ваши допросы.

Наконец, я не выдержала.

— А может быть, я сама могу почитать все это?

— Конечно, но я уже ознакомил вас со всеми основными материалами, зачем тратить лишнее время?

— А вы знаете, у меня ведь достаточно времени.

— Но у меня мало.

— Я вам сочувствую, но, кажется, помочь не смогу.

Он разозлился и толкнул в мою сторону папку.

— Пожалуйста, читайте.

Он демонстративно принялся что-то писать, а я начала читать дело. Прочла сама показания Пивоварова, с густо исписанных страниц протоколов передо мной вставало красное лицо с недобрый взглядом, язык заплетается: “С одной стороны, так сказать, с другой стороны, так сказать, я спрошу вас в порядке подлости”.

И вдруг — бумажка из школьной тетради, чей-то корявый почерк: *“Товарищ прокурор, зачем вы посадили нашего доктора. Она очень хорошая, внимательная и ни в чем не виноватая. Только таким плохим людям, как Пивоваров, она все одно, что спичка в носу. Отпустите ее. Лесорубы Иванов, Гаврилов, Голуб”*.

Гаврилов — это мой больной, а кто такие Иванов и Голуб даже не знаю. Но это было лишь первым открытием. Таких писем оказалось много. И читала их с упоением, с восторгом. Так, наверное, можно читать только хорошие стихи. Я готова была наизусть выучить эти письма. Я всегда верила в людей нашего поселка. Они помнят меня, волнуются, хлопочут. И так радостно вдруг сделалось на душе, так славно. Чтобы не разрушить, не сломить это состояние, я на минутку закрыла глаза, только б не видеть камеры с решеткой, напыженного лица Михновского.

И сразу же мне вспомнился один вечер, море людских голов. Я стою на сцене в нашем леспромхозовском клубе, а там, внизу шумит это море. От волнения не вижу лиц, лишь мелькают платки, прически. Я читаю свою первую лекцию: “За здоровый быт”. Я слышу собственный неестественно громкий голос, выкатываются какие-то деревянные слова, я говорю и вместе с тем, где-то вдали, в закоулке, бьется мысль: *“Мой ли это голос? Мои ли слова? Скука, наверное, страшная”*.

В зале становится всё шумнее, люди наклоняются друг к другу, шепчутся. Закончить, скомкать? Или сбежать? И вдруг я захлопнула тетрадку с десятки раз просмотренным и

утвержденным текстом. Хватит, я не буду больше его рабыней. И как бы поймав на мушку прицела лицо старика-лесоруба Мясоедова, я стала говорить, обращаясь в нему. Старик слушал, впившись в меня глазами, и совсем другие слова рождались и неслись в зал — упругие, смелые, и уже иная мысль билась вдали, в закоулке: “Хорошо у тебя получается, Аня”, зал перестает мне казаться морем. Я вижу знакомые, внимательные лица, лица друзей. Дорогие мои друзья по поселку: рабочие, лесорубы, шоферы, мотористы, колхозницы, санитарки,— спасибо вам за то, что не бросили в беде, великое спасибо.

— Вы закончили читать? — вернул меня в камеру раздраженный голос Михновского, — подпишите протокол об окончании следствия.

Мне уже ничего не было страшно. Я подписала протокол и спросила:

— Когда же суд?

— Думаю, дней через 10-15., — Михновский отвечал охотно, видимо, обрадовался, что дело спокойно подходит к концу. — Так как свидетелей мало, эксперты же да вот и вы также находитесь в Ленинграде, предполагаю, что суд состоится здесь в помещении Областного суда или в каком-нибудь другом месте.

— А почему вы не допросили Якова Марковича? — вдруг вспомнила я.

— Он болен тяжело.

Я испугалась.

— И что с ним сейчас?

— Выздоровливает.

Камень, который чуть было не лег на сердце, пролетел мимо.

— Я хочу, чтобы вы допросили его.

— Теперь уже поздно, все подписано, вы можете об этом заявить на суде.

— Но его придется тогда вызывать в Ленинград из района, надо бы как-то заранее это сделать.

— Посоветуйтесь со своим адвокатом. Меня это уже не касается.

— А у меня будет адвокат? Я хотела бы видеть его сейчас.

— Наверное, будет. Многие беспокоятся о вас, в особенности, один ленинградец, — он ухмыльнулся. — А адвокат пока еще, к счастью, вступать в дело вправе лишь тогда, когда оно будет назначено к слушанию в суде.

Из его слов я сделала три вывода.

Первый — Михновский не хочет, чтобы дело слушалось в поселке или в райцентре, он боится присутствия народа; второй — ленинградец, о котором он говорит, конечно, Андрей Петрович, милый, значит, но все-таки помнит обо мне; и, наконец, третий — Михновский явно не хочет участия адвоката в деле.

21/IV. Тюрьма всегда полна слухами. Сегодня во время работы вдруг прошелестело: к 1-му мая примут новый кодекс. Скоро, кажется, и в самом деле, стану в большей мере юристом, чем врачом. Только и разговоров здесь, что о кодексах, статьях, законах, амнистиях. И все слухи выдаются за самые достоверные. Надоело. Опротивело. Скорей бы уже!

Я недописала. Меня вызывали к адвокату. Только что вернулась. Валька и эта новенькая Оля, как только я вытаскиваю свои записки, уступают мне лучшее место, ближе к свету, и начинают усиленно следить за глазком, чтобы надзирательница не увидела меня.

Та же каморка, в которой допрашивал Михновский. Когда подвели к ней, и стали открывать дверь я ужаснулась: “Неужели снова он? Все сначала, зачем это, зачем?!” Но как только я вошла, мне навстречу поднялся высокий мужчина, лет сорока, с открытым приятным лицом, милой улыбкой. И он заговорил так непринужденно, будто мы встретились вовсе не в тюрьме, а где-нибудь на вечере у знакомых.

— Очень рад, наконец, познакомиться с вами, Анна Васильевна. Я много хорошего слышал о вас от Андрея Петровича. Он, собственно, и пригласил меня для вашей защиты. И, хотя это строго запрещено всякими правилами, просил передать вам записку.

Я вспыхнула от его слов. Даже сейчас не могу понять, что же случилось со мной в ту минуту. Какие-то теплые волны нахлынули, унесли, закружили. Андрей, милый, любимый, не отвернулся, помнишь, волнуешься, ждешь. Родной мой. Если бы только ты знал, как мне важно мысленно ощущать тебя рядом, это ощущение рождает силу. Теперь можно спокойно жить, бороться за свободу. Я схватила записку, потом порвала ее, но навсегда запомнила каждое слово.

*“Анечка дорогая, родная Анечка. Болезнь мешала мне эти дни приходиться под ваши окна. Я не сомневаюсь — все будет хорошо, и мне только хотелось бы, чтобы вы твердо знали, что я жду, терпеливо и с надеждой жду вас. Владимир Семенович Валк — мой давнишний приятель, я просил его защищать вас. Он очень обрадовал меня, разъяснив ваше дело. Я счастлив вдвойне и*

*потому, что вы невиновны, и потому, что скоро увижу вас. Ваши, только ваш Андрей”.*

Мы просидели с Валком больше трех часов. Он сказал, что я умница, прекрасно защищала себя на предварительном следствии, что показаниям Пивоварова о требовании денег он не верит, они ничем не подтверждены, даже жена Пивоварова не подтвердила их, и суду станет ясно, что они лживы. Он думает, что и прокурор должен будет отказаться в суде от этого обвинения, что же касается халатности, то он полагает, что теперь нет оснований и для этого обвинения. Оно повисло, по его мнению, в воздухе, так как выпало основное звено, без которого не могло бы появиться на свет это дело, — утверждение об отравлении девочки сантонином, недочет, о которой пишут эксперты, а не халатность. Надо будет в суде задать им вопрос: “А если бы не было этого недочета, наступила ли бы тогда смерть ребенка, то есть состоит ли ее гибель в причинной связи с недочетом?” Если экспертиза отрицательно ответит на этот вопрос, все дело рассыплется, как игрушечный домик из песка от прикосновения морской волны.

Потом Валк рассказал, что за меня вступился весь наш поселок: и рабочие леспромхоза, и даже работники райбольницы. Оказывается, на днях в Ленинград приезжал Весняк и, узнав, что Валк защищает меня, нашел его, просил передать мне привет от всего поселка и сказал, что хочет, чтобы его непременно допросили в суде. Никак не ожидала, что весь наш поселок будет так переживать и хлопотать за меня. Недавно я прочла здесь, в тюрьме роман англичанина Олдингтона “Все люди — враги”. Видимо, там, в их мире, так оно и есть: человек человеку волк. Но если бы я смогла написать книгу о нашей жизни, даже о своих злоключениях, что-нибудь вроде записок из тюрьмы, все равно назвала бы ее наоборот: “Все люди — друзья”.

Я немного отвлеклась, когда Валк рассказал мне обо всем, и спросила его:

— Значит, теперь, Владимир Семенович, я могу быть твердо уверена в оправдании?

— Трудно быть в чем-нибудь совершенно уверенным. Надо считаться и с возможностью наихудшего исхода, — он говорил медленно и слова его, будто капли черного дегтя, падали на прекрасную картину свободы, которая только что вставала предо мной. — К сожалению, в суде бывают всякие неожиданности. В таком сложном деле можно столкнуться с непониманием или с нежеланием понять. Прокурор Михновский непременно будет обвинять вас, для него ваше оправдание явится

личным поражением и чревато большими неприятностями. Он ведь и выдвинул идею выездного заседания суда в Ленинграде, так как на месте народ знает и любит вас, а он, боится нежелательной для него реакции публики. Кроме того, — продолжал Валк, — он, конечно, будет акцентировать внимание суда на вашей ошибке — неочищении должным образом желудка у девочки, на том, что вы не распознали вовремя отравления, хотя, как я теперь разобрался, его тогда было очень трудно распознать.

Он говорил эти страшные слова, а лицо его оставалось спокойным и приветливым, как и прежде, словно приглашая: “Доверьтесь мне, всё будет в порядке”. Я растерялась, зачем он пугает меня? Но Валк неожиданно широко улыбнулся и, словно зачеркнув все, что говорил только что, весело сказал:

— Не надо волноваться, Анна Васильевна. Дело решает ведь не Михновский, а суд. И пусть мой скептицизм не оправдается. В одном могу вас заверить: в конце концов, мы непременно добьемся правды если не в народном суде, так в областном или в Верховном.

Затем мы подробно обсудили с ним каждый вопрос, который мне могут задать в судебном заседании, каждый ответ экспертизы, показания всех свидетелей, составили заявление в суд с просьбой вызвать для допроса Якова Марковича и Весняка. Я хотела передать через Валка записку Андрею Петровичу, взяла ручку, бумагу, но не смогла написать ни слова. Я даже не знала, как обратиться. Просто “Андрей Петрович”, или “Милый Андрей”, или так, как хотелось больше всего “Любимый мой”. Одно сознание, что кто-то посторонний может прочесть эту записку, совершенно сбивало с толку. Мысли туманились, рука не слушалась. Я разорвала так и не написанную бумажку. Ведь надо или всё писать, или же ничего.

— Я не буду писать, — сказала я, — но вы, пожалуйста, передайте Андрею Петровичу, чтобы он ни в коем случае не приходил в суд, я не хочу, чтобы он видел меня за решеткой. Вы не забудете?

— Не забуду, Аня. На прощанье Валк крепко пожал мне руку.

Вот как будто бы и все.

Прочитала сегодняшние записки. Нет, это не всё. Казалось бы, у меня должно быть радостное настроение, дело близится к концу. Валк сказал, что шансов на успех очень много. Но чем больше размышляю, тем сильнее трушу. Раньше, если бы мне сказали, что судьба человека может зависеть от таких произвольных и случайных обстоятельств, как стремление

прокурора во что бы то ни стало скрыть свою ошибку, я бы ответила: "...чепуха, глупость, так не может быть". Но теперь, поварившись столько времени в тюремном котле, наслушавшись столько разных историй, я понимаю, что это не такая уж бессмыслица.

Если серьезно вдуматься, это ужасно попирать справедливость из-за глупой чести чьего-то мундира. Нет, я не сдамся, не на такую напали, гражданин Михновский. Пишу эти строчки и чувствую, как поднимается откуда-то изнутри решимость бороться. И пусть меня даже осудят сейчас, я все равно добьюсь правды, во что бы то ни стало добьюсь.

Странно, раньше я читала и слышала о том, что тюрьма принижает человека, после тюрьмы он становится боязливым, заползает, как улитка, в свою скорлупу. А я, напротив, чувствую, как эти два месяца сделали меня сильнее, тверже, принципиальней. Раньше я на многое не обращала внимания, ну, мало ли у кого какое горе, я оставалась равнодушной к чужой беде. Не знаю, что будет со мной, когда я выйду на свободу. Во всяком случае, мимо неправды я теперь не пройду, чего бы мне это не стоило.

28/IV. Завтра суд. Все эти дни перестала писать сюда, почему-то пропала охота. Не узнаю себя. Стала сейчас такой беспокойной, раздражительной, сплю плохо, сны тяжелые. Просыпаюсь, силнось вспомнить их и не могу.

Дни всегда очень плотные и короткие, не успеешь охнуть — уже отбой, вдруг стали невероятно длинными. То я без конца рисую встречу с Андреем и все время по-разному, то я начинаю дико скучать по больнице, по работе. Чем ближе ко дню суда, а я все-таки верю, что это будет и день свободы, тем больше думаю о работе, тем сильнее хочется оказаться в больнице. Закрываю глаза и вижу, как вхожу в палату, больные улыбаются мне, у каждого я сижу на постели, с каждым разговариваю, делаю назначения.

А вот подбегает сестра.

— Анна Васильевна, уже время в операционную.

И если бы сейчас в жизни мне пришлось бы начинать с самого начала, я все равно обязательно стала бы врачом. Это великое счастье быть настоящим врачом, ибо нет в мире и не может быть большего счастья, чем делать людям добро, чем служить им.

А что же все-таки будет завтра? Как я хочу на свободу!

## Глава 9

### Приговор

Аню снова ввели в зал. Народу набилось много. Кто-то крикнул: “Не волнуйся, всё будет в порядке”, но этот крик потонул в общем гуле, и она так не разобрала, кто кричал. Время потянулось еще медленнее, и минуты, оставшиеся до оглашения приговора, казались теперь длиннее двух месяцев тюрьмы. Аня загадала, если слева встанет тот самый конвоир, что утром, во время перерыва, выводя из зала, подгонял ее, говоря: “Ну чего там, живет”, — её, несмотря на всё, осудят. Но только лишь загадав так, Аня передумала. Нет, пусть лучше будет наоборот. Если он станет возле меня слева, я сегодня же буду оправдана.

Теперь она с нетерпением ждала, когда сменится караул. Наконец, в зал вошли три конвоира. Рядом слева встал рыженький щуплый солдат, с виду еще совсем мальчик, а тот старшина оказался, с другой стороны. Аня опустила голову. Конечно, это очень глупо, но все-таки почему ей не везет. Неужели возможна такая несправедливость теперь, после всего того, что было в суде.

Все выступали за неё. Яков Маркович прямо сказал:

— Бужина наш лучший врач, она не виновата, я точно так же мог бы не заметить вовремя начавшегося отравления детского организма глистами.

Эксперты отметили, что, если бы и не было со стороны Ани никакого недочета в лечении Кати Пивоваровой, все равно, видимо, наступил бы тот же печальный результат.

И все-таки они сказали это не твердо, не безапелляционно, а “видимо”.

Допрос Пивоварова затянулся. На вопросы прокурора, хотя и краснея, заикаясь, но все же довольно бойко он подтвердил свои показания на следствии о том, что Бужина просила у него деньги в связи с лечением девочки. Он добавил, что был крайне возмущен ее поведением, но вместе с тем не думает, что Бужина залечила его дочь только потому, что он не дал ей денег.

Прокурор остался доволен его ответом. Последние его слова говорили о непредвзятости свидетеля. Допрос перешел к Валку.

— Итак, вы были очень возмущены требованием Бужиной.

— Конечно, так сказать, каждый честный человек возмутился бы на моем месте.

— Это верно. Так с кем же вы поделились своим возмущением?

— Вроде бы ни с кем.

— Не находите ли вы это странным. Такой аморальный поступок со стороны врача, а вы молчите.

— Это, если смотреть, так сказать, с одной стороны, а если с другой стороны — так я сообщил об этом куда следует.

— Но только после смерти ребенка.

— А во время Катиной болезни, надо же понимать родительское сердце, мне было не до того.

— Вы хорошо живете с женой?

— Да.

— И вы откровенны с ней?

— Конечно.

— Почему же вы и ей не сообщили о таком возмутительном требовании Бужиной?

— Почему? Да потому что она очень переживала болезнь Кати, а я не хотел ее, так сказать, расстраивать еще больше.

Прокурор еле заметно улыбнулся. Молодец, Пивоваров, хорошо отбиваешься, два ноль в твою пользу, продолжай в том же духе.

Но Валк не сдавался.

— Скажите, вы были председателем месткома?

— А какое это имеет отношение к делу? Ну, был.

— А почему вас не переизбрали?

Пивоваров недоуменно посмотрел на судью, как бы спрашивая, отвечать ли ему на этот вопрос. Но судья молчал.

— Не знаю этого.

— А против вас выступали на предвыборном собрании?

— Не помню.

— Может быть, вы вспомните выступление Бужиной на этом собрании?

— Нет.

— Странно. Я могу процитировать, передо мной протокол собрания, о приобщении которого к делу я буду ходатайствовать перед судом.

Глаза Пивоварова забегали, он посмотрел на прокурора, ища защиты, но прокурор молчал.

— Я, кажется, припоминаю.

— Значит, не нужно читать? Бужина выступала против вас?

— Да.

— А вы не можете объяснить, почему все жители поселка отзываются о Бужиной как о честнейшем бескорыстном враче?

— Я не знаю этого.



— Тогда объясните, как же это Бужина, ни у кого никогда не требовавшая денег, потребовала их именно у вас, у человека, против которого она выступала на собрании?

— Не знаю.

— Скажите, пожалуйста, вы считали, что Бужина плохо лечила вашу дочь и, как вы выражаетесь, даже залечила?

— Я со всех точек зрения, так сказать, убежден в этом.

— Можно записать в протоколе, что вы считаете ее виновницей смерти ребенка?

— Да, вполне.

— Не руководит ли вами сейчас чувство мести?

— Товарищ адвокат, вдруг прервал Валка судья, — я вынужден снять этот вопрос. Опрашивайте свидетеля о фактах, а о мотивах его показаний суд будет иметь суждение в совещательной комнате.

— Слушаюсь. У меня есть еще один вопрос к свидетелю. Скажите, пожалуйста, вы после похорон дочери устраивали поминки?

— Да.

— Какого это было числа?

— На третий день после ее смерти.

— Следовательно, 16-го января?

— Значит, так.

— А на вашем заявлении относительно Бужиной стоит та же дата. Когда вы писали его?

— Сразу же после поминок.

— А вы много выпили на поминках?

— Не помню.

— Но некоторые свидетели показывают, что вы были в состоянии довольно-таки сильного опьянения.

— Возможно.

— Значит, вы писали это заявление не в трезвом виде? Почему вы молчите? Как понимать ваше молчание? Как знак согласия? А после поминок вы выходили из дому?

— Нет.

— А остальные члены вашей семьи?

— Тоже нет.

— Это точно?

— Совершенно точно.

— А кто и когда отправил письмо с заявлением?

— На следующий день или через день его отправил я сам.

— Но в деле имеется конверт, лист дела 4, где стоит почтовый штамп отправления 16 января, т.е., день поминок. Кто же отправил в этот день письмо, если вы не выходили из дому?

— Кто-то из гостей, не помню кто.

— Значит, вы писали это письмо в присутствии кого-то из гостей?

— Выходит, что так.

— Кто же это был? Ему-то вы, наверное, рассказали всё, как было?

— Не помню.

— А точно что именно вам сказала Бужина, вы помните?

— Нет. О деньгах была речь.

— Бужина прямо требовала от вас уплаты денег за лечение ребенка?

— Нет, нет, прямо она так не говорила. Помню, что-то сказала о лекарствах, потом о деньгах.

— А может быть, она вам сказала, что нужны деньги для лекарства?

— Очень может быть.

— Но почему в вашем заявлении сказано, что деньги требовались за лечение?

— Это я, наверное, спьяна что-то спутал.

— А чем объяснить ваши показания по этому поводу на следствии и здесь, в суде?

— Ну, я повторял, так сказать, что было написано.

— Значит, вы не подтверждаете этих своих показаний? Да или нет?

— Нет, — еле слышно промямлил Пивоваров.

— У меня больше нет вопросов к свидетелю.

После Валка прокурор попытался спасти положение, но Пивоваров, обливаясь потом, заикаясь, переспрашивая вопросы, отвечал что-то невразумительное. Его показания теперь явно были сведены на нет.

Последним допрашивался Весняк. Он вошел в зал насуспенный, злой. Аня сразу же почувствовала себя неловко. Такой занятый человек вынужден целый день проторчать из-за нее в коридоре для того только, чтобы сказать о ней несколько, наверное, ненужных суду слов. Он, конечно, клянет меня за то, что ввязался в это дело.

Весняк, действительно, злился из-за того, что целый день просидел в ожидании, не имея возможности услышать всего хода дела. Но больше всего он злился на себя. Надо было жаловаться на Михновского, поехать в областную прокуратуру, энергичней

хлопотать в райкоме, поднять весь поселок на Анину защиту, и не было бы этого суда, и он не должен был бы торчать в коридоре в унижительном положении человека, которого не допускают в зал, где слушается и вершится дело. И никто другой, а именно он, из-за своей неповоротливости, невнимательности виноват в том, что девушка до сих пор незаслуженно сидит в тюрьме.

Он быстрым шагом прошел к трибуне свидетеля, поднялся, облокотился руками о перила и заговорил размеренным, спокойным тоном, который давался ему большим напряжением воли.

— Я очень сожалею, что не имел возможности слушать дело и не знаю подробно обвинения Анны Бужиной, но все же я хочу подчеркнуть, что выступаю сейчас не только от своего имени, но и от имени рабочих нашего леспромхоза — лесорубов, мотористов, шоферов, от имени жителей нашего поселка.

Михновский прервал его.

— Вы свидетель и можете говорить только от своего имени.

Но председатель хладнокровно заметил.

— Не прерывайте свидетеля, товарищ прокурор. Он вызван по ходатайству защиты для характеристики личности подсудимой, и только отсутствие пока что соответствующего закона мешает нам допустить его в суд в роли представителя общественности. Продолжайте, пожалуйста, товарищ Весняк.

— Все население нашего поселка не только ценит и уважает Анну Бужину, — говорил все более горячо Весняк, — но и любит её всей душой. Это добросовестный врач и прекрасный человек. Но ведь врач не маг и не волшебник. Да, Бужиной не удалось спасти девочку. Она, как и другие более опытные врачи, не сумела распознать отравление глистами, но если бы все врачи всегда могли бы спасать своих больных, то уже сейчас, наверное, не было бы смерти на земле.

Зал вдруг расцвел от улыбок. А Ане захотелось крикнуть: “Дорогой вы мой, умница” — и расцеловать Весняка.

— Я слышал, — продолжал он, — что Бужина обвиняется также в требовании денег от Пивоварова. Мы очень хорошо знаем и её, и его, и я могу здесь со всей ответственностью, заявить, что никто в поселке не верит в правдивость этого обвинения. Анна Васильевна Бужина не способна требовать деньги за лечение, а Пивоваров способен на ложь.

После перерыва начались прения сторон.

Михновский был неузнаваем. Аня даже не поверила ушам своим. Он ли это? Кто его подменил?

Он говорил, что не сомневается в честности Бужиной и вполне понимает и разделяет чувства многих жителей поселка, не случайно так хорошо отзывающихся о ней. И хотя он прокурор, обвинитель, но объективность, правда для него дороже всего. И если бы прокуратура не была введена в заблуждение заявлением Пивоварова, Бужину никогда бы не обвинили в тяжком преступлении — вымогательстве взятки. И он счастлив, прокурор, отказаться от этого обвинения, как явно несостоятельного. Что же касается обвинения в халатности, то, хотя он и учитывает молодость и неопытность подсудимой, все же объективность требует от него поддержать обвинение. Долг врача состоял в том, чтобы с особой тщательностью отнестись к лечению ребенка, между тем, она лечила его невнимательно, допустила грубейшую ошибку, преступную халатность, выписав тяжелобольную девочку из больницы, не очистив, как следует, её желудок. Экспертиза, хотя и смягчила вину Бужиной, но все же признала, что допущенный ею недочет в лечении отрицательно сказался на состоянии здоровья ребенка и, следовательно, мог явиться одной из причин ее смерти.

Учитывая особую ответственность врача, которому доверены жизни людей вообще и наших детей, в частности, а также, что халатность врача повлекла за собой гибель ребенка, он должен был бы просить о назначении Бужиной максимальной меры наказания по данной статье в виде 3 лет лишения свободы. Но принимая во внимание всё то хорошее, что говорилось о ней свидетелями, а также ее молодость и неопытность, он считает возможным просить наказания в виде лишь одного года лишения свободы.

Неужели суд послушается его? — с ужасом думала Аня. Не может быть, чтобы он сам верил в то, что говорил. И как только не стыдно выступить с такой лицемерной речью.

Но Аня не успела до конца додумать свои мысли. Слово предоставили Валку.

Он говорил обстоятельно, подробно анализируя все, даже самые мельчайшие детали дела. Аня уже устала слушать его. Но вдруг его голос затвердел.

— Я оканчиваю свое выступление, товарищи судьи. Несмотря на то, что экспертиза опровергла основное обвинение в отравлении Кати Пивоваровой сантонином, Анну Бужину сегодня продолжают обвинять в преступной халатности. Даже после того как эксперты в суде прямо заявили, что недостаточное очищение желудка у девочки не должно было непременно повлечь за собой ее смерть, — Бужину все-таки продолжают обвинять. Вам говорят:

она допустила недочет в лечении, ошибку, тяжелые последствия налицо — гибель ребенка, поэтому судите ее, она преступница, нарочито при этом забывая, что между этой ошибкой и тяжелыми последствиями отсутствует главное: причинная связь. Не буду повторять того, что я уже говорил об отличии ошибки, недочета в работе от преступной халатности. Но я позволю себе в заключение спросить: не самую ли большую ошибку допустил эксперт Бричкин, дав медицински безграмотное заключение об отравлении ребенка сантонином? Не еще ли бóльшую ошибку допустил прокурор Михновский, арестовав Анну Бужину, молодого врача, за полгода работы завоевавшую самое трудное, ценное и дорогое — горячую любовь народа, жителей своего поселка?! Так не допустите же, товарищи судьи, последней, самой страшной ошибки в этом деле, судебной ошибки, — не осудите Анну Бужину, ибо она не виновна.

Судьи же всё это слушали — спокойные и непроницаемые. А может быть, они и вовсе не слушали, а только притворялись, что слушают, и у них уже давным-давно все решено — сидят же они спокойно просто так, для соблюдения формы.

Аня попробовала во время речи прокурора пристально всмотреться в судью. Он внимательно и, как ей показалось, сочувственно слушал прокурора. Но когда предоставили слово Валку, судья слушал его также внимательно и, пожалуй, столь же сочувственно. Заседатели же сперва показались Ане совершенно безучастными. Один из них — молодой человек с широким здоровым лицом, наверное, тракторист — почему-то решила Аня, — не задал за все время ни одного вопроса. Вторым заседателем была пожилая женщина, с виду не то бухгалтер, не то учительница. Впрочем, Аня ошиблась в своих предположениях. Молодой заседатель на самом деле был вовсе не трактористом, а учителем физкультуры, а пожилая женщина работала в колхозе зоотехником. Она однажды попробовала задать вопрос эксперту, но смутилась от того, что не смогла его хорошо сформулировать и после этого тоже молчала.

И все-таки, когда Аня присмотрелась во время речи прокурора внимательнее к заседателям, ей показалось, что, слушая его речь, они не принимают прокурорских доводов, внутренне сопротивляются им. Но почему судья так спокоен и загадочен, словно сфинкс. Хотя так оно, наверное, и должно быть.

Эта мысль не принесла Ане утешения. Она злилась от того, что не смогла разгадать судью и его отношение к себе. Больше не было сил вспоминать и думать. Скорей бы все кончилось.

Аня сидела за загородкой — бледная, худая, закрыв лицо руками. Как зверь в клетке. И этот вредный старшина нарочно стал не влево, а вправо от неё. Зачем только она так плохо загадала? Сколько можно совещаться! Прошла уже целая вечность. Может быть, они сидят в своей комнате так долго потому, что заседатели спорят с судьей: они за нее, а он за прокурора. Но ведь заседателям не переспорить судью. Он главный и, в конце концов, они послушаются его. Но в глубине сознания Аня верила, хотя не разрешала себе даже думать об этом, что и судья, и заседатели все-таки не осудят ее.

Она устала от мыслей и сомнений, подняла высоко голову и взглянула в зал. Конвоиры стояли по-прежнему неподвижно, у судейского стола, прокурор мирно беседовал с защитником. Как только они могут вот так спокойно разговаривать после всего, что случилось? Ей улыбнулся Лёша. Неужели он приехал специально на суд? Вот и девочки, институтские подружки Мила Самойлова и Вера Александровская. А Андрей Петрович ждет на улице. Беденький, устал, наверное, измучился.

Раздался долгий звонок, захлопали стулья, как в кино при последнем кадре. Все встали. Аня тоже встала, но с трудом. Колени вдруг перестали слушаться, сгибались, дрожали, и она почувствовала, что сразу улетучились все силы.

Вышел суд. Аня загадала, решив, что она загадывает в последний раз в своей жизни: если судья взглянет на нее, значит, она оправдана, не взглянет — осуждена и даже на год тюрьмы, как просил прокурор.

Судья кашлянул и медленно, словно тяжесть, поднес к глазам стопку исписанных листов, как бы давая этим понять, сколь весом и ценен тот приговор, который он писал несколько часов, и, ни на кого не взглянув, начал читать его.

И то, что он сразу начал читать, не взглянув на нее, и, значит, исполнится все самое худшее, окончательно сразило Аню. Она не слышала теперь ни единого слова, лишь сжала обеими руками изо всей силы, чтобы не упасть, деревянный барьер. Сердце колотилось, выстукивая: “Всё кон-че-но, кон-че-но, кон-че-но”. Наконец, как будто издалека, до нее долетели слова: “работала врачом поселковой больницы, обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьями 19-117 части 2 и 111 Уголовного кодекса РСФСР”.

Так оно и есть, этот конвоир не мог стать рядом слева, а судьбе было трудно оторваться от своих бумажек, и вот, пожалуйста, — обвиняется по тем же статьям, даже по той, от которой отказался прокурор. Значит, и в самом деле все кончено.

Могли не поверить мне, но как же не поверили экспертам, Весняку, Якову Марковичу, Валку? “Обвиняется”, но ведь я не виновата, не виновата.

Судья читал: *“исследовав все материалы дела, заслушав показания подсудимой, свидетелей, заключение судебно-медицинской экспертизы, а также речи прокурора и адвоката, суд считает, что обвинение Бужиной в покушении на получение взятки, равно, как и обвинение в преступной халатности, не нашло подтверждения в данных судебного следствия”*.

Как? Как? “Не нашло подтверждения”. Значит все хорошо. Аня впиалась теперь глазами в судью, с жадностью ловя каждое слово приговора. Как все правильно написано. Он читает именно то, что я доказывала. А я еще сомневалась! Как я смела думать, как могла сомневаться в том, что суд, наш суд не найдет правды?!

А судья все читал и читал, подробно пересказывая ответы экспертизы, показания свидетелей. Аня потеряла нить длинных рассуждений приговора. Ведь теперь-то уже всем должно быть совершенно ясно, что она не виновна и все, наверно, радуются этому. Она оглянулась и удивилась — и на добром лице Лёши, и на сосредоточенном лице медсестры Моховой, — а она кричала во время перерыва “Анна Васильевна, мы все переживаем за вас”, и конвоир чуть не вывел её из зала, — и даже на усталом лице Якова Марковича, и вообще всех-всех никакой радости. Одни застывшие каменные лица. Но почему, почему? А вдруг здесь скрыт какой-то подвох, который она не понимает, и все еще может обернуться против неё.

Что за глупые мысли! Я стала какой-то дерганой, загадываю всяческую чушь, сомневаюсь. Ведь он ясно читает: “обвинение не подтвердилось”.

Но вот, наконец, и главное. Аня зажмурила глаза. “Народный суд приговорил Бужину Анну Васильевну...” Аня раскрыла рот, но ей явно не хватало воздуха, гордо оставалось сухим, будто там все пережгло, сердце забилось с такой силой, что, наверно, все в зале могли услышать его стук.

“По статье 111-й Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической республики, — медленно, будто нарочно, с каждым словом растягивая ожидание и накаляя зал, читал судья, — считать оправданной и из-под стражи немедленно освободить”.

Аня покачнулась, глубоко вздохнула и больше уже почти ничего не слышала. Все, что было потом, происходило, словно в тумане и не с нею, а с кем-то другим, который почему-то тоже

назывался Аней Бужиной и отвечал за нее и, кажется, даже улыбался, хотя на самом деле ничего общего с нею, с настоящей Аней, не имел. Эта другая Аня ее голосом очень спокойно ответила на вопрос судьи:

— Вы оправданы, вам понятен приговор?

— Да, понятен.

А когда судья сказал: “Вы можете быть сейчас свободны. Но если желаете получить документ об оправдании, подождите несколько минут выписки из приговора”, та, другая Аня, вдруг ответила “Хорошо, я подожду”, хотя сама она вовсе не хотела ждать ни одной секунды. И та, другая Аня, растерянная, еще не осознавшая всего случившегося, вдруг свободно вышла из-за барьера, отделявшего её до сих пор от мира, и сразу же упала в объятия Весняка.

— Все в порядке, девочка, так оно и должно было быть.

Он хлопнул её слегка по плечу, и, если бы к ней успела вернуться прежняя наблюдательность, она заметила бы: как слезинки сбегали из уголков его глаз.

Но Весняка мгновенно оттеснили. Какой-то мужчина жал Ане руку, кто-то — другую, и она отвечал на их пожатия, хотя и не знала этих людей. Подбежал возбужденный и радостный Леша, он тоже жал ей руку, подбежала медсестра Мохова, все они вместе что-то говорили, но она не слышала и не понимала их слов. Наконец, к ней протолкался Яков Маркович, она обняла его и поцеловала куда-то невпопад, не то в волосы, не то в ухо, и в эту же минуту увидела смущенное лицо Пивоварова.

Сразу пронеслась мысль: я должна подойти к нему. Хотя он поступил мерзко, но все же понял, что был неправ, и я не виновата в смерти Кати. И надо будет сказать, что теперь я не имею никакого зла на него, и мне очень, очень жаль, что так случилось с Катей, и я до сих пор независимо от всего, что произошло, тяжело переживаю ее смерть.

Но в это время подбежали Мила и Вера, стали обнимать её, целовать, а за ними откуда-то вдруг вынырнула Раиса Григорьевна — румяная, сияющая, неожиданно помолодевшая, они обнялись крепко, и она прошептала:

— Он здесь, ждет тебя на улице с самого утра.

И в это мгновенье Аня забыла обо всех своих мыслях, о том, что хотела подойти к Пивоварову. Она вдруг поняла, что не вообще, не в каком-то пусть близком, но неопределенном будущем, а сейчас, именно сейчас она будет свободна и увидит Андрея Петровича и уже ни о чем другом больше думать не могла.



Она хотела броситься вон из зала. Но секретарь суда окликнула её.

— Вы, кажется, хотели получить выписку из приговора?

— Да, да, — растерявшись, ответила Аня, хотя через секунду поняла, что надо было сказать: “нет, я приду за ней завтра”.

Но было уже поздно.

— Подождите тогда здесь, — раздался голос секретарши, минут пять-десять.

Ничего не оставалось делать. Аня села. Конвоиры почему-то выпроводили всех из зала, и остался один старшина тоже ждать выписку из приговора. Аня опустила голову и задумалась. Какая глупость! Сама накликала на себя ожидание.

Вот так вся жизнь — одно ожидание.

Когда была совсем маленькой, ждала прихода мамы с работы, она обнимет её, схватит на руки, и они обе заворкуют о том, как любят друг друга, потом в школе на уроке ждешь, не дождешься, когда зазвонит звонок и можно выбежать во двор, ждешь окончания школы, института и хочется, чтобы все пришло скорее, как можно скорее.

Таким же нетерпеливым было ожидание всего в работе, когда сама сумеет сделать простую операцию аппендицита, а потом, когда сможет сделать операцию посложней, когда легко и безошибочно определит диагноз заболевания, сперва хотя бы только гриппа или ангины, а затем и других, более опасных и тяжелых болезней.

Так было всю жизнь и так будет, наверное, всегда и во всем.

Аня встала, подошла к окну и стала смотреть вдаль сквозь запыленные стекла, но ничего не видела — ни холмистых крыш со сломанными крестами телевизионных антенн, ни каменной проруби двора.

Мысли расплывались.

Хотелось думать о том, что будет, а думалось почему-то о том, что уже прошло.

*Как там в камере, в тюрьме? Как Валька? Теперь, узнав об этом приговоре, она не будет злорадствовать, не закричит: “Чистюля выскочила”, а обрадуется, надо ей обязательно чем-то помочь, и Галине надо тоже помочь.*

*Завтра же поговорю о них с Валком, с Андреем Петровичем. А он до сих пор стоит на улице, еще простудится. Зачем только я сказала, что буду ждать эту дурацкую выписку?!*

Вошла секретарь суда.

—Товарищ Бужина, вот вам, пожалуйста, выписка из приговора.

— Спасибо.

— А это вам, — она протянула выписку старшине.

Он медленно поднес ее к глазам. Пока он стоял рядом со своей винтовкой, хотя Аня и знала, что она не под стражей, все же не чувствовала себя свободной.

Но вот он сложил выписку вчетверо, спрятал ее в карман гимнастерки, повесил винтовку за плечо и, обернувшись к Ане, вдруг улыбнулся.

Нельзя было предположить, что у этого сурового и грозного старшины такая обаятельная улыбка,

— Всего вам хорошего, — вежливо сказал он, обращаясь к Ане, — очень доволен за вас.

— Вы? За меня?

— Ну, конечно же. Теперь дело прошлое, можно и сказать. Огорчился я, когда пришлось вас, как бы тут выразиться...

— Сторожить, чтобы не сбежала.

— Жалко было очень. А прослушал дело ваше и успокоился. Пустое оно. Я так и знал, что освободят вас.

— Что же меня не успокоили?

— Служба.

Аня кивнула ему и выбежала из зала.

То, что несколько часов назад показалось таким грозным, теперь было совсем иным, непохожим. Длинные и мрачные коридоры суда, бесконечная лестница со страшной железной сеткой внизу — говорили, что она натянута после того, как один из подсудимых, бросившись сверху, разбился насмерть, — всё это оказалось сейчас не таким длинным и бесконечным и вовсе нестрашным и грозным.

Аня уже не шла и не бежала, она летела вниз, каблучки туфель отстукивали дробь по ступенькам лестницы, и этот стук казался Ане музыкой. Ведь никто не понимает и не в состоянии понять, как это весело и приятно после того, как месяцами тебя заставляли ходить непременно медленно, с солдатом за спиной, а то еще и впереди себя, бежать, что есть силы по лестнице.

На ходу Раиса Григорьевна набросила Ане на плечи белый вязаный платок, и Аня на ходу же поправила его. Конечно, хорошо бы взглянуть сейчас на себя в зеркало, — подумала она, — а впрочем, я и так знаю, что этот платок мне к лицу.

— Анечка, дорогая, — говорила Раиса Григорьевна, задыхаясь от быстрой ходьбы, — мы все так ждали тебя.

В это время их нагнали Вера и Мила, а Раиса Григорьевна отстала, она не могла так бежать.

— Мы все, — говорила теперь Мила, — знали, что ты не виновата, знали и верили. А Андрей Петрович. Ой, Анечка, какая ты теперь счастливая, он так любит тебя, так любит.

Аня внезапно остановилась, взяла Милу за плечи, повернула к себе и сделавшимися вдруг огромными и блестящими глазами в упор посмотрела на нее.

— Кто велел тебе так говорить? Кто? И откуда ты знаешь?

Мила испуганно заморгала.

— Я же вижу, мы все видим, не маленькие. Ой, какая ты дура, — Мила рассмеялась, — и до чего красивая, аж дух захватывает.

Аня порывисто обняла её, и уже одна быстро пошла к выходу.

Фонтанка лежала большая, тихая, похожая на затуманенное зеркало. В ней отражались и красивый Инженерный замок с золотым мечом шпиля, и кроны деревьев, и длинный ряд домов на другой стороне реки, они уходили вглубь темной воды, одновременно величественные и легкие, покачиваясь, мерцая огнями окон, и во всей этой картине было нечто до того красивое и фантастичное, что трудно было даже поверить в то, что все это существует на самом деле, а не придумано, не нарисовано рукой искусного художника.

Аня выбежала на набережную и остановилась. На секунду зажмурила глаза, и, хотя сейчас она думала совсем о другом, в памяти мгновенно запечатлелись и полусумрак весеннего вечера, и этот пьянящий морской воздух, и Фонтанка с домами над водой и в воде, и даже успела промелькнуть мысль — а до чего же это все прекрасно.

Думала же она об Андрее Петровиче — и не о том, как они сейчас встретятся, что скажут друг другу и понравится ли она ему, такая худая и бледная, обо всем этом уже тысячи раз было передумано в тягучие тюремные ночи, — нет, думала она сейчас об одном: какое это счастье, что на свете есть Андрей Петрович (до сих пор она даже в мыслях почти никогда не решалась назвать его просто Андреем, Андрюшей) и что можно вот так сильно любить.

На Фонтанке почти не было прохожих, и все же Аня не сразу заметила Андрея Петровича.

Он стоял у решетки ограды в новом сером габардиновом пальто и в новой серой шляпе, высокий, стройный, хотя никогда

раньше не казался стройным, очень нарядный, и, наверное, поэтому больше похожий на картинку из журнала мод, чем на самого себя.

Аня сделала шаг вперед. Он или не он? Но вот Андрей Петрович заметил её, обернулся, неуклюже протянул вперед обе руки. Его простое курносое лицо осветилось счастливой улыбкой. Он... он... милый мой...

Аня кинулась стремглав через дорогу, упала к нему в объятия и вместо приготовленного “Спасибо, на всю жизнь спасибо вам, Андрей Петрович”, — уткнулась в его грудь и заплакала.

## **Биография автора**

*Александр Самойлович Экмекчи родился 13 сентября 1920 года в городе Николаеве Одесской области. Его отец, Самуил Моисеевич Экмекчи, служил присяжным поверенным в Петербурге в годы правления императора Николая II. После победы революции Самуил Моисеевич вернулся в родной город Николаев, где и работал адвокатом в течение многих лет. Мать Александра, Ида Моисеевна, получила юридическое образование в Германии, она вернулась в Россию в 1915-м году и жила в городе Николаеве, откуда и была родом. Оба их сына, Александр и Анатолий, последовали примеру отца и матери и стали адвокатами, закончив юридический факультет Ленинградского Государственного Университета.*

*Александр, старший сын, был призван в армию сразу после окончания университета и воевал на Ленинградском фронте с 1941-го по 1945-й год. В 1945-м году его перевели в Маньчжурию, где он прослужил ещё один год. В 1946-м году он был демобилизован, вернулся в Ленинград и был принят на работу в Ленинградскую коллегия адвокатов.*

*Большинство его повестей и рассказов были написаны во время войны или сразу после её окончания с 1947-го по 1955-й годы. Он также оставил сборник фронтовых стихов, написанных в годы войны.*

*В 1954-м году Александр женился, в 1955-ом году родилась дочь Лена, а в 1962-м году, по настоянию жены, семья переехала в Москву. Александр продолжал работать адвокатом, был избран членом президиума Московской Городской Коллегии Адвокатов.*

*Он неоднократно пытался издать свои повести, но бдительная советская цензура его произведения к печати не допустила.*

*Александр Самойлович Экмекчи умер в 1982-м году, в Москве, и был похоронен на кладбище Донского монастыря. Его жена, дочь с мужем и двумя сыновьями переехали жить в Америку в 1988-ом году.*

Александр Экмекчи  
Доктор Аня  
Семь искусств, Ганновер 2019, 102 стр. 5, 16 а.л.

© семья Александра Экмекчи (текст)  
© Семь искусств (оформление)

Техническое редактирование  
и компьютерная верстка Геннадия Швеца

Семь искусств  
Ганновер 2019